PG3328
.S65
1922

ЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.
(РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ)

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
PROPERTY OF
LIBRARY
AT CHAPEL HILL

Биографический очерк

Евгения Соловьева

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
А. т. Тат. Соц. Совет. Республики.
Казань, 1922 г.

1353 n/83

Ex Libris
Г. Вл. Ш. 5 Редот.
Курск. 5 № 22.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.

(Русские писатели).

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ

Его жизнь и литературная деятельность.

F. Dostoevskiĭ : Ego zhizn' i literaturnaia deiatel'nost'

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Евгения Соловьева.

PG3328
.S65
1922

Издательство „МОЛОДЫЕ СИЛЫ".
КАЗАНЬ.—1922 г.

Главные пособия.

1) **Ф. М. Достоевский.** Полное собрание сочинений.
2) **Панаев.** Литературные воспоминания.
3) **Панаева-Головачева.** Писатели и артисты.
4) **А. М. Скабичевский.** История новейшей литературы.
5) **Чиж.** Достоевский, как психопатолог.
6) **Статьи о Достоевском:** а) Белинского.
   б) Добролюбова.
   в) Страхова.
   г) Н. К. Михайловского.
7) „Время“ и „Эпоха“—журналы, издававшиеся под редакцией Ф. М. Достоевского.

И многое другое.

1-я Государственная Типография.

Р. В. Ц. Тираж 10.000 экз. Гиз. № 645 и 8.5.

I.

ВВЕДЕНИЕ.

Достоевский и беллетристы 40-х годов.—Особенности.—Литературный пролетарий.—Вечное безденежье и вечная кабала.—Влияние города.—Городские темы и городские лица.—Психопатология и психопатия.

Имя Фед. Мих. Достоевского упоминается обыкновенно на ряду с именами: Толстого, Тургенева, Гончарова, и никто, я думаю, не станет отрицать за ним права быть поставленным в первых рядах „стаи славной“ беллетристов сороковых годов. Но если и возможно сближать Достоевского с его сверстниками с точки зрения места, времени, силы таланта и общности „литературного происхождения“ (от Гоголя), то подобное сближение очень трудно и потребует самых замысловатых натяжек, раз мы перейдем к духу, смыслу и форме произведений. Всем этим Достоевский обязан преимущественно себе и странным обстоятельствам своей личной жизни. Это—его неотъемлемая собственность, в которой ярко выразилась его резко очерченная индивидуальность, его болезненный психопатический гений, оригинальность его мышления и фантазии, не имеющая ничего подобного и равного в русской литературе. Положительно трудно не согласиться с словами Н. Н. Страхова из его письма к Достоевскому: „очевидно, по содержанию, по обилию и разнообразию идей вы—у нас первый человек, и сам Толстой, сравнительно с вами, однообразен. Этому не противоречит то, что на всем вашем лежит особенный и резкий колорит“. В чем же эта всеми замеченная, но никем вполне ясно неформулированная особенность всей жизни и всей деятельности Достоевского? Кой-какие параллели дадут нам ответ на этот вопрос.

В произведениях Гончарова и в особенности Тургенева вам прежде всего бросается в глаза удивительная отделка формы. Все вызолочено, вылощено, вылакировано, отполиро-

вано; каждое слово на своем месте, каждая фраза не только закруглена, но и отшлифована. Ни одной лишней, ненужной подробности, ни одной страницы, в которой было бы замечено утомление или нервность таланта. Каждое произведение так и просится в переплет с золотым обрезом. Каждая фигура, каждая даже мимолетно появляющаяся на сцену личность (у Тургенева)—точно из мрамора выточена: ни прибавить, ни убавить нельзя ничего. Видно, что это десятки раз обдумывалось и передумывалось, писалось и переписывалось и только потом уже давалось публике на прочтение, с полной уверенностью в успехе, без всякой торопливости, без всяких заискиваний. Хорошо так работать и счастлив тот художник, который может так работать. Но для этого нужны прежде всего средства и выдержка (внутренняя дисциплина). Ни того, ни другого у Достоевского не было. Во всю свою жизнь только две вещи он писал не на спех и не к сроку. Это „Бедные люди“—первый его роман и „Братья Карамазовы“—последний. Все остальное писалось столько же из потребности, сколько и из-за заработка, когда, бывало, и есть нечего, и сам Достоевский по уши в долгах сидит в Сибири или заграницей. Оттого-то, за весьма малыми исключениями, у Достоевского нет ничего выдержанного, обработанного. Иногда целая сотня страниц производит впечатление какого-то papier mâché и только вдруг, в конце, гений, преодолев усталость, проявляется во всю мощь, точно молния прорезывает тучи и освещает всю картину фантастическим, дивным блеском. Обыкновенно же это тысячи ненужных подробностей, десятки отдельных интриг, нагроможденных друг на друга, частые перемены тем, внезапные появления новых героев и героинь. Все это наспех, наскоро, с натугами и порывами, кризисами творчества, молниеносными проблесками гения и удручающим вымучиванием. Но иначе было нельзя: копить деньги Достоевский не умел и зачастую запродавал, вместо романа, белый лист, бумаги, причем „мошенники“ издатели огораживали свои интересы разными неустойками. Разверните переписку Достоевского; ведь это один и тот-же мотив: „денег, денег, денег!“, и мало-мальски чувствующий и мыслящий человек поймет, какая трагедия разыгрывалась в душе великого писателя, которому к такому-то сроку непременно надо приготовить такое-то количество листов. Раз попавши в

лапы г. г. Краевских, Стелловских, Достоевский только под конец жизни вырвался из них. Какой-же силы должен был быть талант, успевший проявить себя во всю мощь, несмотря на нищету, каторгу, падучую и резкие признаки если и не помрачения то во всяком случае психопатизма, по нашему— истеричности?..

Тургенев, Толстой, Гончаров писали, потому что у них была потребность писать, такая-же неотразимая „органическая", как у других есть, пить, спать. Литература и для них главное дело жизни, но не будь у них таланта, они преспокойно прожили бы и без нее. Пишу потому, что пишется, потому, что хочется писать. Это завидная участь. Для Достоевского литературная деятельность была столько-же потребностью, сколько и необходимостью. Он сам себя не раз называл литературным пролетарием и называл совершенно основательно, хотя успех и удача приобретались им сравнительно легко. Как ни велик был его гений, спешка портила дело, коверкала его и терзала великую писательскую душу, заставляя то со злобой, то с отчаянием повторять: „эх, кабы хоть один роман написать так, как пишут Тургеневы да Толстые".. А сколько унижений, сколько невидных самолюбивых мук, сколько зависти и ревности к другим, более счастливым, которым от рождения дано то, чего ему, Достоевскому, удалось достичь лишь трудом целой жизни, т.е. материального обезпечения. Приходилось выпрашивать и вымаливать авансы, сотни, десятки рублей, выслушивать упреки за несвоевременную доставку заказов, писать, несмотря на припадки и пр! Жизнь Достоевского—эта полная трагизма борьба гения с рынком....

Но вместе с этим Достоевский до страсти любил литературу и вне ее не искал ни заработков, ни занятий. Он с гордостью называл себя литератором, хотя и нищим литератором, и даже обижался, когда ему предлагали занять какую нибудь казенную должность или что-нибудь в этом роде. Только по временам срывались у него невольные проклятия, когда нужда слишком уж начинала давить, но и тут он твердо оставался на посту. Вот любопытный отрывок из одного письма, достаточно характеризующий эту душевную трагедию литературного пролетария. Дело в том, что Каширев, (редактор „Зари") не выслал ему к сроку 75 рублей. Достоевский разражается следующими

строками: „Неужели он думает, что я написал ему о своей нужде только для красоты слога! Как я могу писать, когда я голоден, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложил! Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она (жена) кормит ребенка, чтож, если она последнюю свою шерстяную юбку идет сама закладывать! А ведь у нас второй день снег идет (не вру, справьтесь в газетах), ведь она простудиться может! Неужели он не может понять, что мне стыдно об'яснять ему все это! Да неужели уже он не понимает, что он не только меня, но и жену мою оскорбил, обращаясь со мной так небрежно, после того, как я писал ему о нуждах жены. Оскорбил, оскорбил!..—Он скажет, может быть: „а чорт с ним и с его нуждой! Он должен просить, а не требовать“ и т. д. И такую вещь приходится писать автору „Бедных людей“, „Записок из Мертвого дома“, „Преступления и наказания“!.. Фразы-же в роде: „я до того заработался, что отупел, и голова как забитая“—повторяются постоянно.

И все-же Достоевский не только не оставлял, но даже и не думал оставить своей литературной лямки.

Оставим однако борьбу с рынком и перейдем к другой стороне вопроса. „Ловкий француз или немец, — писал Н. Н. Страхов к Достоевскому,—имей он десятую долю вашего содержания, прославился-бы на оба полушария и вошел-бы первостепенным светилом в историю всемирной литературы. И весь секрет, мне кажется, в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен“. Этот совершенно верно указанный недостаток—(так как сущность литературного таланта в том и состоит, чтобы с наименьшими затратами выражения—в широком смысле слова—произвести наибольшее впечатление на читателей)—происходит отчасти от спешки в работе, отчасти и от других причин. Дело в том, что талант Достоевского, — талант совсем особенный, исключительный. Владеть им он так и не научился до конца жизни. Это талант неровный, вспыльчивый, раздражительный, до последней степени нервный и капризный. Чтобы написать простое письмо, Достоевскому нужно было вдохновение, иначе у него и двух строк не выходило. Свои темы он брал сразу, приступом, одним размахом рисовал самые сложные свои

типы (напр., Ив. Карамазов, Раскольников, Свидригайлов, а не подбирался к ним исподтишка, понемногу. Великий мастер в психологическом анализе, Достоевский совсем не был мастером в детальной живописи. Он не мог так, возиться, так разглядывать, так разрезывать по частям своих героев, как Толстой; не умел так вырисовывать их, как Тургенев; но он, как никто, умел жить с ними, страдать с ними, мучиться и волноваться. Созерцательности в нем не было ни на ноту, оттого-то творчество так истощало его. В то время как Гончаров смотрит на жизнь удивительно умным, понимающим и в то же время удивительно сытым взглядом, Достоевский— весь нервы, весь напряжение, весь мука и томление. Когда Толстой стоит перед вами, вперив свой испытующий гениальный взгляд в самую глубину души человеческой, творя суд над правым и неправым с медлительностью все испытавшего и все постигшего гения, Достоевский или проклинает, или благословляет, с любовью или с ненавистью, но всегда со страстью. Отсюда эта страстность, нервность, неровность таланта, это вечное клокотание в груди, мучительно любящей, мучительно ненавидящей.

Повидимому, виноват в этом личный, по наследству полученный Достоевским характер, его, как сейчас увидим, *истеричность*, а потом и еще одно обстоятельство, особенно хорошо и метко указанное А. М. Скабичевским в его «Истории новейшей русской литературы». «В то время, как большинство беллетристов 40-х годов, будучи выходцами из деревень, принадлежат к рыхлому помещичьему типу, Достоевский является представителем разночинного, служилого класса общества, холерически нервным сыном города; а во-вторых, в то время как большинство их были люди обезпеченные, Достоевский один среди них принадлежал к вновь возникшему классу интеллигентного пролетариата». Этому сыну города, интеллигентному-пролетарию, всегда раздраженному, всегда расстроенному, ведшему такую упорную, отчаянную борьбу с жизнью и рынком, некогда было созерцать, смаковать и вырисовывать своих героев. Его беспокоить жизнь, ее материальная сторона, ее нравственные проблемы. Он как-бы сторонится от красоты, изящества, наслаждения. Он терпеть не может никаких художественных аксессауаров. Жизнь—это ужасно серьезная, ужасно трудная, даже жестокая вещь. Где тут целоваться да миловаться — или

описывать поцелуи да милованья. Жизнь—задача, долг, обязанность, борьба наконец, после которой руки и ноги будут в крови. Поэтому в произведениях Достоевского вы не найдете ни очаровательных описаний природы, ни захватывающих сцен любви, свиданий, поцелуев, ни обворожительных женских типов. Все это Достоевский отрицал в принципе. В „Бесах", в лице писателя Кармазинова, он потешался над Тургеневым за его „страсть изображать, напр., поцелуи не так, как они происходят у всего человечества, а чтобы кругом рос дрок или какая-нибудь другая трава, о которой надо справляться в ботанике, причем и на нем должен быть непременно какой-нибудь фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не видал, а дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета". Этот пуризм, очевидно, происходил от слишком серьезного, слишком вдумчивого отношения к жизни, которая представлялась Достоевскому, *как религиозная проблема прежде всего*. Все равно, как каждого его героя жизнь прежде всего *мучает*, так она мучила и его самого. Где тут описывать поцелуи интересных пар!.. Это-то уж несомненно, взгляд на жизнь тяжкодума, городского пролетария.

Сын города виден также и в выборе сюжетов. Баре—Тургенев, Толстой, Гончаров—бар прежде всего и рисовали и, как дополнение к ним, мужика. Третьего сословия, горожан, мещан, разночинцев, они почти не затрогивали, иногда разве преимущественно для ради „опровержения". Изящного общества Достоевский не знал и не выводил на сцену в своих произведениях. Мир чиновничества, интеллигенции, городского пролетариата—вот его сфера. „Он любит вводить читателя в городские вертепы, трущобы, где царят нищета и разврат. Он даже, как Диккенс, проникнут их мрачной поэзией. Не вдаваясь в описание красот природы, он очень часто развертывает перед читателем иного рода ужасающие картины, от которых мурашки ползут по спине. Это в особенности Петербургу свойственная картина городских улиц ночью, в осеннее ненастье или зимнюю вьюгу, когда все, у кого есть теплый кров, прислушиваются к завываниям бури в своих тепленьких уголках, и лишь безприютные, обиженные, сбившиеся со всякого пути, полуодетые в жалкие рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемые мокрым снегом, пронизываемые ветром и погруженные в какие-нибудь полубезумные грезы".

К довершению всего, т. е. своей особенности, Достоевский был несомненным психопатом, не помешанным, говорю я, а психопатом, что не то же самое. В детстве он страдал галлюцинациями, потом падучей. Но и кроме этого, у него были ярко выраженные признаки мнительности и истеричности характера. Что такое мнительность, знает всякий; это мучительное недоверие к себе, своим силам, жизни, это подозрительность в отношении ко всякому, опять-таки начиная с себя, это боязнь, испуганность перед жизнью вообще. Что же такое „истеричность", с которой нам придется встретиться не раз на протяжении биографии, об этом лучше всего скажет нам сам Достоевский—величайший из психопатологов. Отсылая за подробностями к „Братьям Карамазовым", я беру характеристику истерической натуры в изложении д-ра Чижа: это „неустойчивое разновесие психических отправлений, чрезмерно легкая возбудимость, необыкновенно сильная реакция психического механизма и быстрая смена его возбуждений. В характере такого рода больных бросается в глаза пестрая смесь построений и аффектов, симпатий и антипатий, представлений то веселых, то грозных, то серьезных, то пивменных, то с философским пошибом, стремлений, полных энергии, но скоро и пропадающих... У этих же больных есть и другая замечательная черта—самолюбие! Они самые наивные эгоисты, говорят только о себе и постоянно, с самым живым интересом, стараются обратить на себя общее внимание, возбудить участие, заинтересовать всех своею личностью, своею болезнью, даже пороками". В этом портреге трудно не узнать Фед. Мих. Достоевского, его неуравновешанную, неровную натуру, полное отсутствие внутренней дисциплины, капризность, быструю, беспричинную смену восторгов и отчаяния, симпатий и антипатий, крайнего увлечения и холодного равнодушия. Страшно за человека, которому приходится жизнь прожить с таким характером, а к тому же если этот человек талантлив, беден, наивен, как ребенок.. Но все это выяснится нам после.

Пока же два слова о миросозерцании.—Совершенно естественно, что особенности личной жизни, исключительный, болезненный темперамент придали ему очень резкую индивидуальную окраску. Но было-бы, кажется, совершенно напрасной сизифовой работой представить это миросозерцание в его целом: нет просто никакой возможности разобраться в

противоречивых подробностях, в взаимно исключающих парадоксах. На мысль Достоевского личное, даже минутное настроение оказывало могущественное влияние, и сегодняшнее белое могло очень легко завтра показаться черным. Если в „Зап. из Мерт. Дома“ он утверждает, что характерная черта русского народа — стремление к *справедливости*, то это нисколько не мешает ему говорить в „Дневнике“: „наш народ любит страдание“. Если однажды Белинский представляется ему „благородным“, то через несколько времени благородный человек оказывается поганым явлением русской жизни и т. д. Ни в жизни своей, ни в мысли Достоевский не знал дисциплины и противоречил себе не только в подробностях, но и в основном. Попробуйте изложить его взгляды на страдание: то он является перед нами чистым гуманистом, то признает необходимость страдания, как наказания за грех, то просто преклоняется перед ним, как перед таковым. Неправда жизни, опять-таки то губит людей, то воспитывает в них внутреннюю силу, и т. д. Многие же изречения Достоевского прямо зависят от минутной злобы, внезапно нахлынувшего раздражения, от личных симпатий и антипатий. Несомненно, что, вращайся он в другом обществе, он зачастую бы говорил другое и не делал бы таких ужасных скачков от христианского смирения к самому забубенному шовинизму или чему-нибудь в этом роде. Повторяю, мечта о том, чтобы представить миросозерцание Достоевского во всей его целости и стройности, мечта совершенно неосуществимая. Недисциплинированная мысль великого художника сама под-час не знает, куда она идет, и требует, напр., каторги для сумасшедшего (Раскольников) *). Но все-же общие идеи этого миросозерцания ухватить можно. В последней главе нашей книги мы говорим о Достоевском, как о *народнике*, теперь же попытаемся охарактеризовать это общее господствующее настроение.

Понятно, что Достоевский, как страстный и нетерпеливый характер, зачастую чувствовал какую-то истеричную и вместе с тем непримиримую злобу и к жизни, и к людям. В эти мрачные минуты его душевные раны открывались: дикой и мучительной, полной ненужной, но неукротимой жестокости представлялась ему жизнь. С страстным любопытством художника погружался он тогда в человеческую душу и находил в ней

*) См. гл. V.

столько грязи и мерзости, что требовались костры ада, чтобы очистить ее. Под влиянием такого настроения человеческий характер представлялся ему исполненным злобы и мучительных инстинктов. Он говорил: „человек—деспот от природы и любит быть мучителем". Он посягал на самую любовь, он и ей придавал характер инквизиционной пытки: „я до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать". Под таким-же мрачным освещением представлялась ему и дружба: „странная вещь эта дружба!—восклицает он... Положительно могу сказать, что я на девять десятых стал дружным с ним из-за злобы!" Подобные взгляды Достоевского обобщены под общим эпитетом—жестокости таланта. Жестокость-ли это таланта, или результат вынесенной муки—не знаю, но прямо становлюсь на сторону последнего мнения. В отрицании любви и дружбы, в этом представлении жизни как ненужно жестокой, в этом инквизиторски-мучительском выискивании зла в своей собственной душе, в этом взгляде на деятельность человека прежде всего как-на покаяние—я вижу отражение тяжелой многострадальной жизни, выпавшей на долю великого писателя. Постоянно доходил он до отчаяния; обстановка, характер так давили и терзали его, что он ощущал в душе холодный ужас и неподавимый страх перед жизнью. Нежный и любящий, он становился способным различать вокруг себя одну злобу; страстно привязанный к жизни, он нетерпеливо отталкивал ее от себя и уходил в „подполье", чтобы оттуда проклинать бытие. Холодный ужас и холодное отчаяние то и дело овладевали им. Он хотел жить, как человек радостный, сильный, здоровый, с любовью в сердце,—но такая жизнь не давалась ему, и он оттолкнул от себя наслаждение, он проклял счастье.

И кроме того, по самому существу своей натуры, личного опыта, темперамента, Достоевский отрицал всякий эпикуреизм в жизни и даже с ненавистью изгонял его оттуда. Точка зрения эпикурейцев, искание наслаждения, мысль, что наслаждение—господствующий мотив в деятельности человека были просто противны ему. В юности он увлекался аскетическими идеалами, потом казнит интеллигенцию за то, что та стремится к личному счастью или старается устроить чужую жизнь по

идеалу всеобщего земного счастья. Он решительно отказывается признать наслаждение за главный господствующий мотив деятельности и, увлекаясь полемикой с этим принципом, уже из духа противоречия утверждает, что человек ищет страдания, *любит* его, что оно ему нужно так-же, как и наслаждение. В трезвые-же минуты он видит в людях просто способность *к самопожертвованию*, самую высокую и ценную с его точки зрения, способность отрекаться от своего „я“ во имя абсолютного нравственного начала.

Отрицая эпикуреизм, вместе с ним Бентама, Милля, утилитарианцев вообще, Достоевский в своих взглядах на личность твердо держится догмы христианского учения. Личность для него свободна, т. е. одарена свободной волей. Как таковая, она ответственна. Мало того, у ней есть сознание этой свободы, что и проявляется в раскаянии, в желании пострадать после совершенного греха. Даже не личный свой грех, а грех вообще—личность способна принять на себя и радоваться страданию, как началу, освобождающему от него. Личность свободна, а следовательно—ответственна. Это камень краеугольный всего миросозерцания Достоевского. В этом, и только, кажется, в этом пункте он никогда себе не противоречил. Отсюда все выводы его учения. Даже выводя на сцену психопатов и сумасшедших, Достоевский все-таки не поступался своим излюбленным принципом и к ним относился так-же строго, как и к обыкновенным людям, требовал их ответственности и наказания, и только в „Дневнике“ однажды перемения гнев на милость (дело Корниловой).

Содержание, ценность этой свободной личности не зависит от внешних материальных условий, среди которых она находится. С точки зрения свободы воли это логично. Достоевский потому любил повторять: „не о едином хлебе бывает жив человек“, и всякая экономическая или материалистическая точка зрения на жизнь, утверждающая, что человек есть точная копия внешних условий, положительно претила ему. Какие, кажется, внешние условия в жизни русского народа, особенно крепостного мужика, однако и в нем сохранилась внутренняя правда, которая и светит из под серого армяка и насевшей грязи. Не о едином хлебе жив бывает человек, и суть жизни совсем не в экономических или политических условиях, а в

началах нравственных, религиозных. Большинство интеллигенции утеряло их. Но их не утеряла Россия, русский народ, сохранивший внутреннюю правду и православно-христианские идеалы. Поэтому нам, а не Европе принадлежит будущее. Основанием нравственного начала жизни является *любовь* и смирение. Без любви нет деятельности, без смирения—деятельность есть служение своему „я", эгоистическое искание личного счастья, чего Достоевский не допускал. Смиренно служить другому — таков идеал нашего писателя, но он не только не давал, но и прямо отрицал право вмешиваться в чужую жизнь, право заботиться о чужом счастье и устраивать его по собственной программе. Личность, т. е. каждый в отдельности, прежде всего должна проникнуться мыслью, что в сущности она очень слаба и очень ничтожна, и что главные-то усилия ее должны направиться на свое собственное самоусовершенствование. Человек, сам человек прежде всего должен быть хорош, а потом— видно будет. „Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек"—учил Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи. Других оставь в покое и не думай, что ты можешь сделать что-нибудь с жизнью, тем более с народной жизнью.

Подводя итоги сказанному, мы видим, что Достоевский, отрицая совершенно эпикуреизм, материализм, социализм, и пр., видел в жизни прежде всего проблему нравственную и религиозную. В разрешении ее, т. е. в отыскание веры в Бога и личном самоусовершенствовании и заключается задача человека здесь, на земле. Самый взгляд на жизнь у Достоевского отличается строгостью и своего рода мрачностью. Жизнь—задача громадная; житейская борьба сурова, и нечего плакать, если после нее и руки, и ноги в крови будут. Не для радости живет человек, а для осуществления нравственного идеала, в жертву которому он должен принести свое личное „я". Не любовь, не розы, не наслаждение—а работа, страдание, борьба—вот принципы Достоевского. Все равно как в своих произведениях он никогда не описывает ни идиллических картин, ни поцелуев интересных пар, все равно как там он постоянно указывает на зло, сидящее внутри человека, на присущую каждому карамазовщину, так и в его миросозерцании в общем господствует мрачный взгляд на жизнь. Жизнь—это жертва, самоотречение, долг, неисчер-

наемая греховность. Истинная жизнь—это борьба с внутренним, нравственным злом, которое пребывает *в каждом* из нас. Страдание во всяком случае полезнее для этой борьбы, чем наслаждение, и, стремясь к последнему, мы совершенно забываем о высшей задаче и роли, предназначенной человеку на земле.

Как видит читатель, миросозерцание это чисто религиозное. Думая постоянно о высшем начале, руководящем жизнью, Достоевский совершенно логично подчинял ему человека и человеческое счастье. Мало того, как натура глубокорелигиозная, он и вообще-то был прежде всего склонен к подчинению, к тому, чтобы обратить всю деятельность человека внутрь, на самого себя, а не на борьбу с внешними обстоятельствами. Тут не консерватизм, не реакционерство, не индифферентизм даже, так как Достоевский не был ни тем, ни другим, ни третьим, а какая-то потребность подчиниться чему и кому-нибудь,—потребность, вообще присущая религиозным натурам. Человек не все, тем менее—отдельный человек. Есть нечто высшее, и вот в проповеди этого высшего начала, в постоянном искании его и прошла вся жизнь, вся деятельность Достоевского. Надо склоняться перед чем-нибудь, чтобы не остаться при руководстве своего личного „я“: оно ведет к гибели, к озверению. Победа над этим „я“ и есть дело истинно человеческое.

II.

Детство.—Город и деревня.—Деревенские впечатления.—Мужик Марей.—Великое и святое.—Угрюмый отец.—Семейная жизнь. Буквари, начатки грамматики.—Жорж Занд.

Ф. М. Достоевский родился в 1821 г. 21-го октября в Москве, в правом флигеле мариинской больницы. Его отец, штаб-лекарь, Михаил Андреевич, был из разночинцев, получал скромное жалованье и всю жизнь свою прожил очень скромно, скопив кое-что для своего многочисленного семейства, очень впрочем немногое. Мать Достоевского—религиозная, хозяйственная женщина, все равно как и муж ее, не выдавалась, повидимому, ничем особенным. Сам Фед. Мих. был вторым сыном; старший брат, Михаил, родился на два года раньше его, после же были еще братья и сестры. Вся семья гнездилась в крохотной казенной квартире из двух или трех комнат, жила тихо, замкнуто, прикапливая на черный день, не зная никаких особенных развлечений, даже театра. Но жили дружно и спокойно, а впоследствии, когда удалось приобрести маленькое именьицо в Тульской губернии, то и с большим разнообразием: на лето перебирались туда, что, конечно, вносило не мало оживления, благодаря переезду на долгих, новым уже деревенским впечатлениям, свободе в своем собственном поместье и т. д. „В городе жизнь велась в очень определенных, однообразных и узких рамках: вставали рано утром, часов в 6. В восьмом часу отец уходил в палату, в 9—уезжал на практику. В его отсутствие дети занимались уроками; в 12—обедали. В 4 часа пили вечерний чай, а вечера проводили в гостиной и обыкновенно читали вслух—„Историю“ Карамзина, стихотворения Жуковского, изредка Пушкина. В праздничные дни все вместе играли в карты, в короли, причем маленький Федя

всегда уловчался плутовать, по юркости своего характера. В 9 часов, после молитвы и ужина, дети уходили спать". И это изо-дня в день. По праздникам жизнь несколько изменялась. Дети отправлялись к обедне, накануне—ко всенощной, изредка разрешались кое-какие развлечения, в роде театра или балаганов, но вообще предпочитали побольше держать их дома. Лето, как было сказано выше, проводилось обыкновенно в деревне, причем самая поездка туда тянулась двое или трое суток. „Во время поездок этих брат Ѳедор бывал в каком-то лихорадочном настроении. Он всегда садился на облучке. Не бывало ни одной остановки, хотя на минуту, при которой брат не соскочил-бы с брички, не обегал-бы близ-лежащей местности или не повертелся-бы вместе с кучером возле лошадей!"

В городе детей держали строго, особенно отец, который терпеть не мог их шалостей, любил, чтобы они постоянно занимались делом, и мечтал, повидимому, о том, чтобы пустить их по ученой части. К этой строгости примешивался своего рода педантизм, особенное твердое убеждение, что жизнь— это такая серьезная и трудная вещь, что подступать к ней надо во всеоружии и уже с детства готовиться ко всяким лишениям, неприятностям, ясно выработав себе идею долга и обязанности. Поэтому детей не только не распускали или баловали, а наоборот—сразу же старались ввести их в колею такой скромной и строгой жизни, где исполнение обязанностей, отсутствие прихотей стоит на первом плане. Дети, конечно, шалили, любили, напр., разговаривать с больными через решетку, что запрещалось, но эти шалости от отца скрывались. Тот, стесняя себя во всем, чтобы дать детям хорошее, даже прекрасное образование, требовал от них очень строгого отношения к себе. Баловства он не допускал совершенно. Быть может, слишком уж ясно сознавал, что его дети—бедные разночинцы, которым ни легкой, ни блестящей карьеры предстоять не может, которым все, каждый шаг придется брать в жизни грудью, и хотел приучить их к этому чуть не с пеленок. Отсюда это сухое однообразие жизни, этот излишний педантизм слишком строгого, слишком уж, так сказать, целесообразного воспитания.

Но в деревне, где семья проводила время обыкновенно одна, без отца, дети пользовались большей свободой. „В деревне— рассказывает Анд. Мих.—они постоянно почти были на воздухе

и, исключая игр, проводили целые дни на полях, присутствуя и приглядываясь к трудным полевым работам. Все крестьяне любили нас очень, в особенности брата Федора. Он, по своему живому характеру, брался за все: то попросит водить лошадей с бороной, то погоняет лошадь, идущую в соху. Любил он также вступать в разговоры с крестьянами, которые охотно с ним говорили, но верхом его удовольствия было исполнить какое-либо поручение и быть чем-нибудь полезным. Я помню, что одна крестьянка, вышедшая в поле жать вместе с маленьким ребенком, пролила нечаянно жбанчик воды и бедного ребенка нечем было напоить,—брат сейчас-же взял жбанчик, сбегал в деревню и принес матери целый жбан воды..." Здесь, в деревне, Фед. Мих. чуствовал себя как нельзя более хорошо: не было ни длинных строгих уроков, ни постоянной необходимости смотреть за собою. С братьями он играл в индейцев, но предпочитал вертеться возле крестьян, ходить за грибами, „слушать природу". „Это маленькое и незамечательное место, говорил он потом о своей деревне, оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю жизнь, где все полно для меня самыми дорогими воспоминаниями."

Особенно впоследствии, будучи уже на каторге, Достоевский любил возвращаться к впечатлениям своего первого детства, к этому „святому и драгоценному, без чего не может и жить человек." Одно из этих воспоминаний он воплотил в чудную художественную форму и было бы грешно не привести его здесь: „Был второй день Светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, яркое, но на душе моей было очень мрачно. Другой уже день по острогу шел праздник, каторжных на работу не выводили, пьяных было множество... Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, несколько раз уже обнажавшиеся ножи—все это в два дня праздника до болезни истерзало меня. Наконец в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился поляк М-цкий, из политических; он строго посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: je hais ces brigands,—проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму и, несмотря на то, что четверть часа тому назад выбежал из нее как полоумный—пробрался на свое место против окна с желез-

ной решеткой и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать; к спящему не пристанут, а между тем можно лежать и думать. Мало по малу я и впрямь забылся и незаметно погрузился в воспоминания... на этот раз мне вдруг припомнилось почему то незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего 9 лет от роду: я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне; день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками и мне так жалко покидать деревню. Я прошел на гумна и, спустившись в овраг, поднялся в Лоск,— так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Вдруг среди глубокой тишины я ясно и отчетливо услышал крик: „Волк бежит!“. Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика. Это был наш мужик Марей.—Мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темнорусой, окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.—Волк бежит!— прокричал я, задыхаясь. Я весь трясся, крепко уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойной улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.— „Ишь ведь испужался, ай-ай,—качал он головой.—Полно, родный. Ишь, малец, ай!“

„Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.— „Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись.“ Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец, тихонько дотронулся до вздрагивающих губ моих, улыбаясь мне какою то длинною, материнскою улыбкою...

„И тут, в Сибири припомнилась мне эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его пока-

чиванье головой: „Ишь, ведь, испужался, малец!“. И особенно этот толстый его, запачканный в земле, палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивающим губам моим. И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом, и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь во встречавшиеся лица.

„Этот обритый и ощельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную, сиплую песню, ведь это то-же, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце“.

Я подробно, хотя и с большими сокращениями, передал „эпизод“ с мужиком Мареем, и потому, прежде всего, что, по моему, это уже не просто эпизод, а одно из тех только с первого взгляда неважных событий, которые глубоко и невольно залегают в впечатлительную детскую душу, долго лежат там под грудой разных других мыслей и чувств, и потом вдруг, накопивши за время своего долгого молчания невероятную силу и мощь, появляются на сцену и сразу надолго определяют как убеждения, так и деятельность человека. Под серым армяком, под закорузлой дикой грубостью русского крестьянина, под его „зверским невежеством“—Достоевский всегда искал и находил „глубину человеческого чувства“, тонкую, почти материнскую нежность в отношении ко всякому слабому, несчастному, страдающему. Эти то качества он, вместе с Константином Аксаковым, называл „высоким образованием народа нашего“; эти то качества и заставляли его верить в народную правду, вечно святую, никогда непреходящую, хотя и загрязненную, забитую. Конечно, не одни детские воспоминания виноваты в этом; но нельзя отрицать и того, что они играли, быть может, первенствующую даже роль. Сам Достоевский, по крайней мере, на стороне последнего мнения: „без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминания детства—говорит он—не может и жить человек. Иной, повидимому, о том и не думает, и все же эти воспоминания бессознательно да сохраняет, и при этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства“.

Но вот и еще эпизод, тоже из области общения с народом,

относящийся к описываемой эпохе: „Мне было всего еще 9 лет от роду,—рассказывает Достоевский—как, помню, однажды, на третий день Светлого праздника, все наше семейство сидело за круглым столом, за чаем, и разговор шел как раз о деревне. Вдруг отворилась дверь и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев, сейчас только из деревни прибывший. В отсутствие господ ему даже поручалось управление деревней, и вот вдруг, вместо управляющего, весь в одетого в немецкий сюртук и имевшего солидный вид, явился человек в старом зипунишке и лаптях. Из деревни пришел пешком, а войдя, встал в комнате не говоря ни слова: „Что это?—крикнул отец в испуге.—Посмотрите, что это?“—„Вотчина сгорела-с!“—пробасил Григорий Васильев. Описывать не стану, что за тем последовало. Отец и мать были люди небогатые, трудящиеся—и вот какой подарок к Светлому дню! С первого страху вообразили, что полное разорение, бросились на колена и стали молиться; мать плакала. И вот вдруг подходит к ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то-есть. Всех она нас, детей, взростила и выходила, была она тогда лет 45-ти, характера ясного, веселого и всегда нам рассказывала такие славные сказки! Жалованья она не брала у нас уже много лет: „Не надо мне“, и накопилось ее жалованья рублей 500 и лежали они в ломбарде,—и на старость пригодятся,—и вот она вдруг шепчет маме: „коли надо вам будет денег, возьмите и мои, а мне что, мне не надо...“

Быть может, 9-ти летний Достоевский и не совсем ясно понимал в то время, что это значит отдать 500 рублей, которые „пригодятся на старость“, но впоследствии, когда этот эпизод всплыл на поверхность души, он послужил не малым аргументом в пользу основной точки зрения нашего великого писателя. Достоевский никогда не отрицал, что народ груб, невежественен, зверообразен; но он знал (и еще больше—верил), что подо всем этим таится высокая душа, таится народная правда, краеугольный камень которой сочувствие страданию и самопожертвование. И эти детские эпизоды, к которым он постоянно возвращается, ни на минуту не выходят у него из головы, раз ему приходится говорить или писать о народе. Это-то и есть „великое и святое“, без чего „не может жить человек“.

Но к рассказу.—Учить детей стали очень рано. Сама мать водила указкой по букварю и заставляла повторять за собою: «аз... буки... веди...» Брали и учителей на дом. Один из них, какой-то отец-дьякон, рассказывал священную историю особенно хорошо и производил на своих учеников сильное впечатление, хотя, как педагог старого образца, и требовал, чтобы те вызубривали урок наизусть по «Начаткам» митрополита Филарета. Сам отец занимался со старшими—Михаилом и Федором—латынью, причем «братья» занимались по часу и более, не смели ни только сесть, но даже облокотиться на стол. Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя и спрягая попеременно. Братья очень боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам. Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное очень вспыльчив. При малейшем промахе со стороны братьев сейчас-же раздавался крик. Потом детей отдали в пансион к какому-то Чермаку, педагогу, впрочем заботливому и не без любви обучавшему своих питомцев всей премудрости, требовавшейся школьной программой того времени. Кстати, можно заметить, что Фед. Мих. еще в детстве недурно изучил французский язык и радовал своего отца именинника, читая ему в дни ангела отрывки из «Генриады» наизусть.

Вообще, несмотря на скудость средств, заставлявшую всю семью теснится в двух трех комнатах целыми зимами, родители Достоевского не жалели денег, чтобы дать своим детям по возможности хорошее воспитание. Было оно только немного странным и строгим. До 16—17 лет детей держали как маленьких, никуда не пускали их одних, заставляли отправляться и возвращаться в школу педантически аккуратно, никогда не давали ни копейки карманных денег, словом, слишком уже тянули на помочах. Мало того: дети исключительно росли в собственной семье, не имея товарищей и не зная, что делается в Божием мире, за больничными стенами. Оттого-то Фед. Мих. никогда и впоследствии не мог научиться жить с людьми. Виноват в этом отчасти и характер его, слишком капризный, меланхолический, так сказать, «тяжко думный», отчасти и непривычка. Что он постоянно был в семье—это, конечно, прекрасно, но зато после ему пришлось дорого поплатиться за это. Наука общения с себе подобными не

всякому дается сразу; она требует, как и все другое, опыта. Опыта-то Достоевскому и не доставало. Он и сам жалел об этом не раз, но помочь горю не мог. Очень требовательный к себе и другим, обидчивый до крайности, раздражительный и самолюбивый, воспалявшийся в одно мгновение, еще скорее остывавший, он был мало пригоден для товарищества и дружбы. И напрасно впоследствии приписывал он свой разрыв с кружком Белинского и «Современника» *только* различию в убеждениях,— здесь дело проще: слишком ласковое отношение к себе, слишком требовательное к другим.

Обратим внимание еще на одну серию внушений, шедшую уже прямо от отца. Тот, человек угрюмый, подозрительный, болезненно недоверчивый, словом,—по характеру своему один из русских неудачников (ведь, неудачникам судьба и снисходить может, а они все-же так «неудачниками в душе» и остаются), хотя, быть может, и невольно, но постоянно пугал детей. Представьте себе эти уроки латинской грамматики, во время которых надо было каждую минуту дрожать и опасаться, чтобы вместо «amant» не сказать «amamant», или чего-нибудь в этом роде,—эту необходимость—скрывать от отца каждую шалость, каждую ребяческую выходку! Отец не бил—это правда но это суровое, требовательное отношение к детству эти раздраженныя вспышки, этот и дозрительный, угрюмый взгляд и полное, повидимому отсутствие добродушия действуют ничуть не хуже и не лучше розог. Недоверчивость, а тем более постоянная, систематическая недоверчивость мучительно влияет на детей: Она уничтожает простоту, искренность и сердечность в семье, и, действительно, посмотрите, напр., какой впоследствии пытки стоило Достоевскому написать письмо к отцу, в котором он просит выслать 40 руб. асс.! Больной подозрительностью сын пишет еще к более больному подозрительностью отцу и ежеминутно ожидает, что его обвинят в обмане, кутежах расточительности, тогда как ему просто нужны эти несчастные 40 р. на самое необходимое! Но он не смеет прямо сказать, что ему нужно: он клянется, божится, распинается, чтобы отец не счел его обманщиком, эксплоататором и пр.! Тяжело читать таким психопатические, вымученные вещи, тяжело видеть эту нервность в 17-ти летнем ребенке, проявляющуюся в отношении к отцу. Но, значит, так оно было и раньше, хотя биографы, по ка-

кой-то стыдливости, об этом умалчивают. Не говоря уже о том, что отец передал своему сыну по наследству болезненную недоверчивость к себе, людям, жизни вообще— он своим обращением еще усилил и раздул ее. Он был строг и не столько в смысле справедливости, сколько неукоснительной требовательности. Своим обращением, своими разговорами он постоянно внушал детям, что жизнь—это тяжелая, трудная вещь, где человека за ничтожную ошибку ждет гибель. Он советовал, конечно, брать пример с себя, в своей исполнительности, аккуратности и пр. В меру это хорошо, но для такого впечатлительного и так уже трусливо настроенного, к тому-же больного *) ребенка, как Фед. Мих., подобные внушения ничего, кроме вреда, принести не могли. Уже с детства привык он боятся жизни, уже в детстве проявилось в нем то недоверчивое, подозрительное отношение к себе и другим, которое совершенно испортило его юность. С ним надо было обходиться поосторожнее, не пугать, а ласкать и беречь эту гениальную, но страшно неуравновешанную натуру, приучать ее к жизни, а не отпугивать от нее.

Но все-же детство Достоевского—самая счастливая пора его жизни. Строгость отца умерялась ласками матери, однообразие городской жизни красилось летними деревенскими впечатлениями, неровный обидчивый характер мальчика не встречал в семье суровых и жестких отпоров. Как ни вяла и однообразна была эта семейная жизнь, в ней все-же было то тихое, спокойное и дружное, к чему постоянно тянуло Достоевского. Легко представить себе эту большую, тесную семью, собравшуюся за вечерним чаем, эти споры детей с отцем о превосходстве Пушкина над Жуковским, страстное цитирование любимых стихотворений, мирное чтение Карамзина и успокаивающее впечатление торжественного стиля его «Истории». Сальные свечи, горевшие на столе в видах экономии, каждый вечер освещали теперь уже исчезнувшие на веки лица. Тут и отец, с усталым и угрюмым выражением лица, и добрая улыбающаяся мать, и сам Фед. Мих., маленький, нервный, юркий, с блестящими и восторженными глазами. И еще многие тут большие и малые; даже старуха няня

*) В детстве он страдал галлюцинациями. Мы это видели уже в рассказе о мужике Марее.

приплелась сюда-же и дремлет в углу, ежеминутно спуская петли на своем чулке и прислушиваясь к одушевленному чтению.

* * *

Из всей семьи ближе чем с другими Фед. Мих. сошелся с братом своим, Михаилом. Они были почти сверстники, вместе играли, вместе учились, потом — вместе читали. Об этих чтениях—своего рода приготовительном курсе литературной деятельности—нам надо сказать несколько слов. Но сначала маленькое замечание. Есть такие (напр., покойный Ор. Ф. Миллер), которые уверяют, что Ф. М. Достоевский был очень образованный человек. Что он был начитан это несомненно, но в образованности его, понимая под этим хотя некоторое знакомство с наукой, право можно сомневаться. И это сомнение основательно. прочтите всю его переписку, все его сочинения, и вы не увидите ни одной строчки, которая выражала бы хоть самый ничтожный интерес к вопросам науки. Сомнительно даже, чтобы он хорошо знал историю русского общества и русского народа,—обстоятельство, недурно об ясняющее некоторые из его знаменитых парадоксов. Но читал он, особенно в молодости, очень много и надо прямо сказать, что более беспорядочное чтение трудно себе и вообразить. Системы ни малейшей. Читается все, что попадается под руку, преимущественно романы и поэзия. Десяти лет Достоевский увлекается «Разбойниками» Шиллера, потом идут Диккенс, Вальтер-Скот, Занд, Шекспир, Гюго и пр.; из русских: Карамзин, Жуковский, Пушкин и т. д. Что Достоевский понимал этих авторов, что они были для него бесконечно полезны—это очевидно, но он никогда не изучал их. Оттого-то до конца жизни остался он литературно-начитанным человеком, что, быть может, достаточно для великого романиста, но маловато для публициста и редактора журналов. Даже психопатией и психиатрией, как науками, Достоевский не занимался никогда, и если он все-же может быть назван величайшим из психопатологов, то виноват в этом его гений, а никак не образованность.

Это беспорядочное, лишенное всякой исторической перспективы чтение развивало талант Достоевского, гуманизировало его, но вместе с тем давало и слишком уже обильную пищу его фантазии, которую могла бы дисциплинировать хоть отчасти, наука. Но науки не было, и безумная, нерассчетливая жизнь одним сердцем, одним воображением измучила Достоевского до конца и быстро

новела его до того душевного кризиса, с которым мы познакомимся в следующей главе. Пока же еще несколько подробностей об этом чтении.

В молодости Достоевский читал горячо, страстно, с увлечением, не дававшим спать ему целые ночи. „Историю“ Карамзина он знал почти наизусть, страстно любил Пушкина, предпочитая его Жуковскому; потом с еще большей горячностью набросился на Жорж Занд, открывшую перед ним новый мир общественных задач и отношений. В этих увлечениях товарищем ему был брат Михаил, и на этой общности умственных интересов и выросла их дружба. Особенно глубокое впечатление на Достоевского произвела Жорж Занд. В нижеследующих строках он сам прекрасно говорит об этом:

„Появление Жорж Занда в литературе совпадает с годами моей первой юности, и я очень рад теперь (1876 г.), что это так уже давно было, потому что теперь, слишком тридцать лет спустя, можно говорить почти вполне откровенно. Надо заметить, что тогда только это и было позволено,—т. е. романы; остальное все, чуть не всякая мысль, особенно из Франции, было строжайше запрещено. О, конечно, весьма часто смотреть не умели, да и откуда бы могли научиться: и Меттерних не умел смотреть, не то, что наши подражатели. А потому и проскакивали „ужасные вещи“, например, проскочил весь Белинский... Но романы все-таки дозволялись, и сначала, и в средине, и даже в самом конце, и вот тут-то, и именно на Жорж Занде, оберегатели дали тогда большого маха... Надо заметить и то, что у нас, несмотря ни на каких Магницких и Ливранда, еще с прошлого столетия всегда тотчас же становилось известным о всяком интеллектуальном движении в Европе, и тотчас же из высших слоев нашей интеллигенции передавалось и массе, хоть чуть-чуть интересующихся и мыслящих людей. Точь в точь то же произошло и с европейским движением тридцатых годов. Об этом огромном движении европейских литератур, с самого начала тридцатых годов, у нас весьма скоро получилось понятие. Были уже известны имена многих новых явившихся ораторов, историков, трибунов, профессоров. Даже, хоть отчасти, хоть чуть-чуть известно стало и то, куда клонит все это движение. И вот особенно страстно это движение проявилось в искусстве—в романе, а главнейшее—у Жорж Занда. Правда, о

Жорж Занде Сенковский и Булгарин предостерегали публику еще до появления ее романов на русском языке. Особенно пугали русских дам тем, что она ходит в панталонах, хотели испугать развратом, сделать ее смешной. Сенковский, сам же собиравшийся переводить Жорж Занда в своем журнале „Библиотека для Чтения", начал называть ее печатно г-жей Егором Зандом, и, кажется, серьезно остался доволен своим остроумием. Впоследствии, в 48 году, Булгарин печатал об ней в „Северной пчеле", что она ежедневно пьянствует с Пьером Леру у заставы и участвует в афинских вечерах, в министерстве внутренних дел, у разбойника министра внутренних дел Ледрю-Роллена. Я это сам читал и очень хорошо помню. Но тогда, в 48 году, Жорж Занд была у нас уже известна почти всей читающей публике, и Булгарину никто не поверил... Мне было, я думаю, лет шестнадцать, когда я прочел в первый раз ее повесть „Ускок",—одно из прелестнейших первоначальных ее произведений; я помню, я был потом в лихорадке всю ночь... Жорж Занд—не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц (если только позволено выразиться такою кудрявою фразою) более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила в ю жизнь, и именно потому, что сама, в душе своей, способна была воздвигнуть идеал. Сохранение этой веры до конца обыкновенно составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев... Она основывала свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою—в каждом своем произведении, и тем и признавала ее свободу"... Жорж Занд верила в будущее человечества, верила в грядущее счастье и для многих, в том числе и для Достоевского, ее романы были великолепной демократической школой.

III.

Смерть матери и переезд в Петербург.—Луч идеализма.—Дурные впечатления. Инженерное училище.—Одиночество.—Тяжелая юность. —„Бедные люди".—Разрыв с Белинским.—Неудачи.—Болезнь.

Для большинства людей—юность самое счастливое время жизни; верится в себя, свои силы, здоровье, будущность и эта вера дает яркую окраску каждому крохотному событию, которое человек, с обычным в эти годы эгоизмом, толкует в свою пользу. Господствует убеждением,—вернее, настроение, что все на тебя смотрят и радуются, желают всякого благополучия и что вообще „я"—какая-то совсем особенная величина в жизни, которой предназначено совершить нечто особенное, и что к моему-то „я" жизнь будет, не в пример прочим, добра и снисходительна. Все это наивно, самонадеянно, светло и радостно; все это у большинства. У Достоевского совершенно наоборот: его переписка, его думы за юные годы—это переписка и думы из подполья. Господствующее настроение—меланхолия, подозрительное отношение к жизни, мучительное недоверие к себе. Изредка какие-то чисто *террористические* взрывы юношеской самодеятельности. Болезненное воображение, не знающее удержу, ни ноты выдержки и дисциплины, безумно расточительная жизнь сердцем; совсем особенное самолюбие навыворот, которое ищет деятельности, ищет славы, но из-за робкой трусливости, приниженности предпочитает сидеть в углу. Самолюбие, как-бы обиженное и глубокооскорбленное, заставляет повсюду и в каждом слове, движении видеть обман, неискренность; рядом с этим—ничем неудовлетворяющаяся требовательность в отношении к другим. Все это завершается страшным душевным кризисом и исключительной катастрофой в обстоятельствах жизни. Переходим к фактам.

В начале 1837 г. умерла мать Достоевского. Отец решился отправить сыновей в Петербург, в инженерное училище. „Был май месяц, рассказывает Фед. Мих.,—мы ехали на долгих почти шагом и стояли на станциях часа по два, по три. Помню, как надоело нам наконец это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чем то ужасно, обо всем „прекрасном и высоком". Тогда это словечко было светло и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких словечек! Мы верили чему-то страстно, и хотя мы оба знали прекрасно все, что требовалось к экзамену математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три —даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни".—С удовольствием отмечаем этот дрожащий юными силами луч идеализма, которому было суждено так скоро, хотя к счастью на время только, затеряться под грудой других обидных и грубых впечатлений. Кстати, потому только, что к этому пришлось, называют обыкновенно Достоевского консерватором, чуть-чуть не реакционером, но любопытно было бы знать, что общего с консерватизмом имеет полный веры в будущее идеализм Достоевского?—Но это между прочим. Возвращаемся к рассказу.

Поступить в училище удалось только Фед. Мих., брат его был забракован на докторском осмотре. Эта первая неудача тяжело подействовала на Достоевского: ему не только приходилось расстаться с любимым, единственным в жизни другом, но и провести в одиночестве целые годы. С товарищами он не сближался. Его любимым развлечением была прогулка, одинокие мечты. „Он очень далеко держал себя,—рассказывает г. Савельев,—от начальства и старших товарищей. . Его можно было видеть и в бытность его в старшем классе большею частью одного—или сидящим за своим столиком, занимающимся, или гуляющим по комнатам, всегда с понуренною головою и сложенными назад руками! Нравы инженерного училища, допускавшие господство старших товарищей над младшими, драку, кутежи—совсем ему не нравились *). Он и на других производил

*) Вот один характерный эпизод: „натянутое положение между воспитанниками 1-го и 2-го кл. разыгралось наконец общей дракой в камерах. Молодежь схватилась в рукопашную. Вспомнили про

впечатление мистика, идеалиста и предпочитал держаться в сторонке, будучи или только воображая себя—у Достоевского это не всегда разобрать можно—несчастным. Науками он занимался с усердием, но без любви, фронтом—с отвращением. Выправка и муштровка, военные нравы старого времени, грубые, но откровенные, ни на минуту не привлекали его. Болезненное самолюбие, нежность душевная, физическая слабость держали его в одиночестве. Если вполне верить его письмам за это время, то настроение его действительно было ужасно. Постоянный недостаток в деньгах давал себя чувствовать очень заметно; прибавьте к этому нелюбимое дело, товарищей, с которыми не было ни одного пункта соприкосновения.

„Не знаю,—спрашивает он в письме к брату,—стихнут ли когда мои грустные идеи?“ Или: „У меня есть проект: сделаться сумасшедшим... Брат, грустно жить без надежды. Смотрю вперед и будущее меня ужасает... Я ношусь в какой-то холодной, полярной атмосфере, куда не заползал луч солнечный; я давно не испытывал взрывов вдохновения... за то часто бываю в таком настроении, как шильонский узник после смерти братьев в темнице. Не залетит ко мне райская птичка поэзии, не согреет охладелой души! Ты говоришь, что я скрытен; и вот уже и прежние мечты меня оставили, мои чудные арабески, которые создавал я некогда, сбросили позолоту свою. Те мысли, которые лучами своими зажигали душу и сердце, ныне лишились пламени и теплоты. Сердце мое очерствело... Дальше ужасаюсь говорить... Мне страшно сказать, ежели все прошлое было один золотой сон, кудрявые грезы“.

Тут много риторики, много *самосочинения* (сам Достоевский это „самосочинение“ считает уделом каждого), но допустим $^1/_{10}$ долю истины и то страшно за бедного юношу 17 лет. Одиночество, безденежье, обидчивость—реальная почва такого настроения. Рядом с этим, с полной уже силой про-

---

ружья и бросились за ними. К счастью, в это время явился командир роты Скалон и вскрикнул: „Да вы меня погубить хотите! Не хочу быть вашим командиром! В отставку выйду!“. Молодежь сразу приостановилась. С криком „ура!“ подняли Скалона на плечи и понесли по камерам. Придя к себе, Скалон рассадил всех кругом. По команде „целуй направо“, старший класс поцеловал младший, по команде „целуй налево“ младшие возвратили поцелуй старшим.

является по наследству полученный меланхолический темперамент. Болезненное недоверие к себе и другим делает мучительной жизнь среди людей. Сколько внутренней муки, сколько жалобы в упомянутом уже письме к отцу, с просьбою выслать 40 рублей. Вот оно:

„Милый, добрый Родитель мой! Неужели Вы можете думать, что сын Ваш, прося от Вас денежной помощи, просит у Вас лишнего.—Бог свидетель, ежели я хочу сделать Вам хоть какое бы то ни было лишенье, не только из моих выгод, но даже из необходимости.—Как горько то одолженье, которым тяготятся мои кровные. У меня есть голова, есть руки. Будь я на воле, на свободе, отдан самому себе, я бы не требовал от Вас копейки; я обжился бы с железной нуждою. Стыдно было бы тогда мне и заикнуться о помощи.—Теперь я Вам высказываю себя одними обещаньями в будущем; но это будущее недалеко и Вы со временем увидите.—

„Теперь же, любезный Папенька, вспомните, что я *служу* в полном смысле слова.—Волей или неволей, а я должен сообразоваться вполне с уставами моего теперешнего общества. —К чему же делать исключенье собою?—Подобные исключения подвергают иногда ужасным неприятностям. Вы сами это понимаете, любезный Папенька. Вы жили с людьми.—Теперь: лагерная жизнь каждого воспитанника военно-учебных заведений требует по крайней мере 40 р. денег. (Я вам пишу все это потому, что я говорю с отцом моим).—В эту сумму я не включаю таких потребностей, как, например: иметь чай, сахар и проч. Это и без того необходимо, и необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке, или в такую погоду, придя с ученья усталый, озябший, без чаю, можно заболеть, что со мною случилось прошлого года на походе.—Но все таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю. Требую только необходимого на 2 пары простых сапогов 16 р.—Теперь мои вещи: книги, сапоги, перья, бумага и т. д., и т. д. должны же лежать где-нибудь. Для этого я должен иметь сундук, ибо в лагерях нет никаких строений, кроме палаток. Койки наши—это куча соломы, покрытая простынею. Спрашивается, не имея сундука, куда я положу все это?—Нужно знать, что казна не заботится, нужно-ли мне место или нет: не заботится, имею ли я сундук.

Ибо экзамены кончатся; след., книги не нужны; казна одевает меня, след., сапоги не нужны и т. д. Но без книг как я проведу время? 3-х пар казенных сапог не станет и в городе на полгода!—След.. мне нет казенного места поставить сундука, который необходим для меня. В палатке общей я стесню товарища, след.. сделаю неприятность другим, да и мне просто не позволят держать сундук в палатке, ибо никто в палатке не держит; след . для моей поклажи я должен буду иметь место. Место я найду, уговорившись (как все делают) с каким-нибудь из солдат-служителей наших поставить сундук мой. За что надобно заплатить. След., на покупку сундука по крайней мере целковый.

За провоз туда и сюда . 5 целковых.
За место. . . . . 2 „
За чистку мне сапог. . 5 „

„Это условная такса с служителем".

На этой реальной почве безденежья и одиночества и выросло юношески страстное, нетерпеливое миросозерцание.

„Жизнь, говорит Достоевский, отвратительна. Хорошо лишь то, что далеко от нее, от ее земного счастья что, *духовно*. Одно только состояние и дано в удел человеку,—атмосфера души его состоит из слияния неба с землею; какое же противозаконное дитя природы человек: (в нем) закон природы нарушен... Мне кажется, что мир наш чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслью. Мне кажется, мир принял значение отрицательное, и из высокой, изящной духовности вышла сатира... Видеть одну жесткую оболочку, под которой томится вселенная, *знать, что одного взрыва воли достаточно чтобы разбить ее и слиться с вечностью*... Ужасно!.. как малодушен человек! Гамлет! Гамлет!".

Это уже мысли о самоубийстве. Обыденная жизнь—плотская греховность. Надо отрешаться от нее, чтобы восстановить высокую, изящную духовность. Отуманивающие грешные мысли от плоти, от стремления к земному счастью. Аскетизм, страдания очищают душу. Достоевский увлекается своим товарищем Шидловским. Почему? „Взглянуть на него—это мученик! Он весь сох, щеки впали, большие глаза его сухи и пламенны. Духовная красота его лица возвысилась с упадком физической; он страдал. Тяжко страдал! Боже мой, как любил он какую-то

девушку! Она же вышла за кого-то замуж. *Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии!...*" Это не философия, но ясный зародыш будущих полумистических, полуфантастических парадоксов.

* * *

В 1839 году скончался отец Достоевского; в 1843 г. Фед. Мих., окончив полный курс наук, был выпущен на действительную службу. „По выходе из училища, началась холостая, цыганская и полная лишений жизнь Фед. Мих. Нельзя сказать, чтобы он не был обеспечен. Вместе с казенным жалованьем и высылками опекуна, он получал до 5 тыс. руб. асс в год... Но он был крайне не практичен, деньги уходили у него сквозь пальцы с неимоверной быстротой". Для чего-то он держал квартиру, за которую платил 100 р. ас. в месяц. Отказывать себе в чем бы то ни было он не желал. Просто на просто он транжирил деньги; все его расходы были расходами капризного, прихотливого человека. К тому-же он любил играть на биллиарде (впоследствии в рулетку) и конечно проигрывал. Постоянное безденежье мучило его самого, но справиться с собой он не мог и не умел. Расходы тщеславия занимали в его бюджете первое место; он и сам понимал, что это не умно, но продолжал так делать. Иногда точно ребенка его радовало, что он может „бросать" деньги. В этом он как будто видел проявление или доказательство своей силы. Когда в 1844 г. он оставил службу, потому что та не в меру ему надоела, то безденежье стало хроническим.

Достоевский транжирил деньги, всю свою жизнь транжирил их и никогда, разве в самое последнее время, и то благодаря жене научился сводить концы с концами. Кажется, умный был человек и прекрасно понимал, что эти вечные авансы, долги — закабаляют его, подвергают массе унижений, делают его рабом литературного рынка, а все же жил так, как будто сроку жизни только один день. Мотовство конечно недостаток с точки зрения пуризма и добродетели, но с другой научной точки зрения, это уже болезнь. Что такое мот? Прежде всего, человек со слабой волей, с неодолимым влечением к покупкам, с такими прихотями и капризами, которые сразу вспыхивают в душе, сразу заполняют всю область сознания и требуют, чтобы их немедленно удовлетворяли. Тут и тщеславие, и

сластолюбие; но суть не в них: суть именно в неодолимости мгновенных прихотей, в этом полном отсутствии дисциплины воли, которая страдает от самой краткой отсрочки. „С этими влечениями к покупкам я не мог бороться, рассказывает один психопат, — я не мог себя убедить. Я приходил в отчаяние но оказывался бессильным“.(См. Кюллера „Современные психопаты“. стр. 93). И Достоевский приходил в отчаяние, постоянно даже пребывал в отчаянии и все-же не мог поделать с собой ничего. Вечное безнадежье—его хроническая мука. Он чувствовал себя немного лучше, спокойнее, когда в кармане были деньги, и между тем спешил пробросать их. Он стремился, как и всякий, к свободе, независимости, к самостоятельности, и сам постоянно всю жизнь закабалял себя. Завтрашний день, угрозы нищеты тревожили его беспрестанно, однако он не принимал, не мог принять против них никаких мер. Прекрасно описано это душевное настроение в романе „Игрок“,—произведении, вообще говоря, слабом, но очень характерном для Достоевского. Никакой дисциплины у человека, никакой возможности бороться с моментально з родившейся в душе прихотью. Это, конечно, болезнь. Но еще маленькое соображение, которого даже доказывать не берусь: Достоевский страдал неверием в себя: не давали ли ему эти траты, это бросание денег *приз а ного, мгновенного* сознания своей силы. „Ведь могу-же я бросать деньги, — рассуждал он, —сотни могу бросать .. Не пария же, значит, я, не нищий“... А нищеты, необходимости „сократиться“, войти в узкие рамки жизни он боялся больше всего. Он стремился в жизни к исключительному, особенному: обыденное пугало его, вызывало отвращение. К тому-же и тщеславия в нем было более, чем следует.

Бросив службу, Достоевский занялся литературой и это уже на всю жизнь.

Можно удивляться, как он с первых же шагов на этом новом, почти незнакомом для него поприще начинает метаться из стороны в сторону, подчиняясь внушениям своей нетерпеливой, ни на ноту не выдержанной натуры. Различные проэкты ежеминутно возникают в его голове, на первых порах представляются, конечно, блестящими и увлекательными, но проходит немного времени, вот сечются неминуемые жизненные затруднения, и Достоевский охладевает к своим проэктам так же

быстро, как быстро и воспалился. Сначала он хочет заняться преимущественно переводами и очень энергично приглашает к сотрудничеству брата Михаила. Недоконченный в русском переводе роман „Матильда" прежде всего привлекает его внимание. Надо докончить этот перевод, надо издать роман. От этого проэкта Достоевский в восторге. „Роман, пишет он брату, раскупится; Никитенко предсказывает успех. Притом любопытство уже возбуждено. 300 экземпляров окупают все издержки печати. Пусти весь роман в 8-ми томах по целковому—у нас барыша семь тысяч. Пиши не медля, хочешь или нет"... Следует проэкт о переводе Шиллера и новые страстные изложения этого проэкта в письмах к брату, но конечно ни „Матильда", ни „Шиллер" на свет не появились. Но в это же время идет и первая самостоятельная работа: Достоевский сидит за первым своим романом „Бедные Люди", начатом еще в инженерном училище. Кроме „Братьев Кауамазовых", это единственное произведение, за которым Достоевский посидел и не раз переделывал. „Кончил я его, пишет он к брату в 1845 г., совершенно чуть ли еще не в ноябре месяце, но в декабре вздумал весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен". Достоевский хотел не торопиться. „Я, пишет он, дал клятву, что коль и до зарезу доходить будет, крепиться и не писать на-скоро, на заказ. Заказ задавит, загубит все. Я хочу, чтобы произведение мое было отчетливо, хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а оба ждут монументов. И теперь Гоголь берет за печатный лист 1000 р. с., а Пушкин продавал один стих по червонцу". Романом своим Фед. Мих. „серьезно доволен", но его берут сомнения, где удастся поместить? Хочется в „Отеч. Зап.", но там груда рукописей, не прочтут пожалуй". Но за то, если удастся, „литературная будущность, жизнь—все обеспечено". Несмотря однако на то, что „роман вещь строгая и серьезная", Достоевским вдруг овладевают сомнения: „а вдруг не примут?" „Не пристрою романа, пишет он, так может быть и в Неву... Что же делать? Я уж думал обо всем! Я не перенесу смерти моей idée fixe".

Все однако устроилось лучше, чем мог ожидать Достоевский...

„Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я на-

чал вдруг „Бедные люди“, мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал как с ней и быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот сам еще ничего не написал, кроме одной маленькой статейки „Петербургские шарманщики“ в один сборник. Зайдя ко мне, он сказал: „принесите рукопись (сам он еще не читал ее); Некрасов хочет в будущем году сборник издать, я ему покажу“. Я снес, видел Некрасова минутку; мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением и поскорее ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой партии „Отечественных Записок“, как говорили тогда, я боялся; Белинского я читал уже несколько раз с увлечением, но он мне казался грозным и страшным и—осмеет он моих „Бедных людей“, думалось мне иногда. Но лишь иногда... Писал я их со страстью, почти со слезами—„неужели все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью,—все это ложь, мираж, неверное чувство?“ Но думал я так, разумеется, только минутами и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о „Мертвых душах“ и читали их, в который раз—не помню. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую, как днем, петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: „с десяти страниц видно будет“. Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. „Читает он про смерть студента—передавал мне потом уже наедине Григорович,—и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: „Ах, чтоб его!“ Это про вас-то, и так мы всю ночь“. Когда они кон-

чили (семь печатных листов), то в один голос решили идти ко мне немедленно: „Что-ж такое что спит, мы разбудим его, это выше сна!“ Потом, приглядевшись к характеру Некрасова я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, мало сообщительный. Таким, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает, сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь, говорили о поэзии и о правде, и о „тогдашнем положении, разумеется, и о Гоголе, цитируя из „Ревизора“ и из „Мертвых душ“, но главное о Белинском. „Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!—восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками.—Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!“ Точно я мог заснуть после них! Какой в сторг, какой успех, а главное —чувство было дорого. Помню ясно: „У иного успех: ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах, хорошо!“ Вот что я думал, какой тут сон!“

На Достоевского пахнуло славой. По своей истеричности он даже преувеличивал свой успех. „Ну, брат, пишет он в 1846 году, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такого апогея, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство на счет меня страшное. Я познакомился с бездною народа, самого порядочного. Князь Одоевский просил меня осчастливить своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе от отчаяния волосы. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обежал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: „Кто этот Достоевский? Где мне достать Достоевского?“ Краевский, который никому в ус не дует и режет всех напропалую, отвечает ему: что „Достоевский не захочет вам сделать чести и осчастливить своим посещением“... Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли: Достоевский то-то сказал Достоевский то-то хочет сделать. Белинский любит меня как нельзя более. Тургенев влюблен в меня...“

Прочтя „Бедные люди“, Белинский сказал Некрасову: „Приведите мне Достоевского, приведите его скорее“, и когда тот привел, то встретил его сначала (минуты две) важно и сдержанно, а потом вдруг заговорил пламенно, с горящими глазами: „Да вы понимаете ль сами-то, что вы это такое написали? Вы только непосредственным чувством, как художник, это могли описать. Но осмыслили-ли вы сами то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали! Не может быть, чтобы вы в 20 лет уж это понимали... Да ведь этот ваш несчастный чиновник, ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не *смеет* почесть от приниженности, и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу... Ведь это ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали!.. Цените-же ваш дар и и оставайтесь верным ему, и будете великим писателем“... Белинский очевидно увидел в „Бедных людях“ подтверждение своей любимой мысли, что ненормальные общественные условия коверкают, ломают, обесчеловечивают человека, доводя его до такого ничтожества, когда он теряет образ и подобие!.. Талантом Достоевского, самим Достоевским он увлекся до последней степени. Достоевский отвечал ему тем-же. Выйдя от Белинского, он остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день и стыдливо думал про себя: „и неужели вправду я так велик?“. Им овладел какой-то робкий восторг: „О, я буду достойным этих похвал, и какие люди! Я заслужу, постараюсь стать таким-же прекрасным, как они; пребуду верен! О, как я легкомыслен, и если-бы Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы! Впрочем этих людей только и есть в России, они — одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом... Мы победим; о, к ним, с ними!!!

Достоевский попал конечно в избранный литературный кружок, кружок действительно лучших людей того времени. Но—увы— не надолго. Почему?—это вопрос трудный, но миновать его нельзя. Вот что рассказывает [illegible]-Головачева в своих литературных воспоминаниях об том не годе жизни Достоевского:

„Достоевский пришел к нам в первый раз вечером с

Некрасовым и Григоровичем, который только-что вступал на литературное поприще. С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительной молодой человек. Он был худенький, маленький белокурый, с болезненным цветом лица: небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались. Почти все присутствовавшие тогда у нас уже были ему знакомы, но он, видимо, был сконфужен и не вмешивался в общий разговор. Все старались занять его, чтобы уничтожить его застенчивость и показать ему, что он—член кружка. С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам; застенчивость его прошла, он даже выказывал какую-то задорность, со всеми заводил споры, очевидно из одного упрямства, противоречил другим. По молодости и нервности, он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и самомнение о своем писательском таланте. Ошеломленный неожиданным, блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступали на это поприще со своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке, беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод, показывая своею раздражительностию и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев,—он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался. У Достоевского явилась страшная подозрительность, вследствие того, что один приятель передавал ему все, что говорилось в кружке лично о нем и о его „Бедных людях". Приятель Достоевского, как говорят, из любви к искусству, передавал всем, кто о ком что сказал. Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду; он приходил уже к нам с накипевшей злобой,

придирался к словам, чтобы излить на завистников всю желчь, душившую его. Вместо того, чтобы снисходительнее смотреть на больного нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками. Достоевский претендовал и на Белинского за то, что он играет в преферанс, а не говорит с ним о его „Бедных людях“.

„— Как можно умному человеку просидеть даже десять минут за таким идиотским занятием, как карты, а он сидит по два и по три часа!—говорил Достоевский с каким то озлоблением —Право, ничем не отличишь общества чиновников от литераторов: то же тупоумное препровождение времени.

„Белинский избегал всяких серьезных разговоров, чтобы не волноваться. Достоевский приписывал это охлаждению к нему Белинского, который иногда, слыша разгорячившегося Достоевского в споре с Тургеневым, потихоньку говорил Некрасову, игравшему с ним в карты —„Что это с Достоевским, говорит какую-то бессмыслицу, да еще с таким азартом“. Когда Тургенев, по уходе Достоевского, рассказывал Белинскому о резких и неправильных суждениях Достоевского о каком нибудь русском писателе, то Белинский ему замечал:

„—Ну, да вы хороши, сцепились с больным человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не понимает, что говорит.

„Когда Белинскому передавали, что Достоевский считает себя уже гением, то он пожимал плечами и с грустью говорил:

„—Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того, чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдет вперед. Ему непременно надо лечиться, все это происходит от страшного раздражения нерв. Должно быть потрепала его, бедного, жизнь! Тяжелое настало время, надо иметь воловьи нервы, чтобы они выдержали все усилия нынешней жизни. Если не будет просвета, так, чего доброго, все поголовно будут психически больны!.

„Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком, и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем!—к чему изводить так Достоевского?—но Тургенев был

в самом веселом настроении, увлек и других, так что никто не придал значения быстрому уходу Достоевского. Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя „Бедных людей", будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому, что он оповестил всю Россию об его существовании, и в стихах повторялось часто „мамочка".

„С этого вечера Достоевский уже более не показывался к нам и даже избегал встречи на улице, с кем-нибудь из кружка. Раз, встретив его на улице, Панаев хотел остановиться и спросить, почему его давно не видно, но Достоевский быстро перебежал на другую сторону. Он виделся только с одним своим приятелем, бывшим в кружке, и тот сообщал, что Достоевский страшно бранит всех и не хочет ни с кем из кружка продолжать знакомства, что он разочаровался во всех, что это все завистники, бессердечные и ничтожные люди".

Сам Достоевский об'ясняет дело иначе: свой разрыв с Белинским и его кружком он приписывал исключительно различию в убеждениях. Вот что говорит он потом в письме к Страхову, вспоминая об этом разрыве: Я обругал Белинского более, как явление русской жизни, нежели как лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни... Живи он теперь, с пеной у рта бросился бы вновь писать поганые статьи свои, позоря Россию, отрицая великие ее явления (Пушкина)... Но вот еще что: вы никогда его не знали, а я знал и видал и теперь осмыслил вполне. Этот человек ругал мне... и между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей мира сопоставить с Христом для сравнения. Он не мог заметить, того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражения, подлости" и пр... все в доказательство того, что Белинский был поганое явление и плохой критик.

Надо однако заметить, что это не единственный отзыв Достоевского о Белинском: он менял свое мнение, смотря по настроению. Да разве не видно, как много *личного*, мелкого, самолюбивого раздражения в приведенных словах. Иногда Достоевский отзывался о Белинском совершенно иначе *), и если взять его же современное свидетельство о разрыве, то там об убеждениях

*) В письме от 1846 г. он, напр., называет его „благородным".

и их различии ни слова. Эта сторона дела особенно резко выступила на сцену после.

Очевидно прежде всего, что люди не сошлись характерами: да и с кем мог бы близко сойтись Достоевский в эту эпоху при своей мнительности, болезненном, раздраженном самолюбии? Барича Тургенева, всегда спокойного самоуверенного, остроумного, он мог просто даже возненавидеть именно потому, что сам он представлял нечто диаметрально противоположное. Но он мог-бы преклониться перед высокой нравственностью Белинского.

Он не сделал однако и этого, и разлад, даже вражда быстро сменили мимолетную дружбу и, с нашей точки зрения, что бы ни говорил по этому поводу сам Достоевский, об этом положительно нельзя не пожалеть. Уж дурному-бы от Белинского он во всяком случае ничему не научился и от общения с ним, от близости к нему могли-бы только окрепнуть и перейти в действительность юношеские мечтания о независимой литературной работе, о необходимости крепиться и не насиловать своего творчества, хотя бы внешние материальные затруднения и вынуждали к тому. Правда, и Белинский был литературным поденщиком, до конца дней своих пребывавшим в кабале, но эта поденная работа никогда не могла изменить его взгляда на литературу, как на великое и святое дело. Принцип литературной независимости и направления впервые появился в русской жизни вместе с Белинским, и эта независимость-была нравственным требованием, на которое не должны были влиять ни нищета, ни внешний гнет. Странно, что Достоевский, забыв все это, обобщил деятельность Белинского под именем „поганого явления", но еще страннее, что такой эпитет не вызывал в нем никакого раскаяния. Это уже больше, чем раздражение, это истеричная, ничем не сдержанная злоба, на которую, несомненно, был способен Достоевский. Как бы то ни было, он отшатнулся от Белинского и потерял многое, прежде всего то руководительство, в котором так нуждалась его недисциплинированная натура. Он предпочел связаться с Краевским, который затягивал его авансами и высасывал из него все соки, играя роль благодетеля. Достоевский принялся работать во всю и быстро истощился.— Но вернемся на минуту назад.

Успех „Бедных людей" превзошел всякие ожидания, и

это не надолго приподняло душевное настроение Достоевского, но приподняло именно как у больного: он серьезно вообразил, что он добился славы, что он чуть-ли не первая литературная величина в России, чуть-ли не выше Гоголя.

Разочарование наступило быстро; за неудачами дело не стало. Виноват во всем этом прежде всего сам Достоевский. Он сейчас-же задолжал повсюду, принялся писать через силу, взался за десять работ и быстро надорвался не столько даже от работы, сколько от этой разбросанности и болезненной впечатлительности. Ему хотелось написать сразу дюжину повестей и рассказов и столько-же фельетонов. Между прочим он работал и над своим романом „Двойник", работал вяло, скучно, принуждая себя, выматывая и вымучивая из себя. Он опять жалуется на скуку: „я, пишет он брату, решительно никогда не имел у себя, такого тяжелого времени. Скука, грусть, апатия и лихорадочное, судорожное ожидание чего-то лучшего мучает меня. А тут болезнь! Чорт знает что такое! Кабы как-нибудь пронеслось все это!" Он положительно завален работой: „К 5-му числу Генваря,—пишет он другой раз, обязался поставить К аевскому первую часть моего романа „Неточка Незванова"... Пишу день и ночь"... Долги мучают. „Я плачу долги мои посредством Краевского Вся задача моя заработать ему все в зиму и быть ни копейки не должным в лето. Когда-то я выйду из долгов? Беда работать поденщиком! погубишь все, и талант, и юность, и надежды, омерзеет работа и сделаешься наконец пачкуном, а не писателем". Или: „Ты не поверишь, Вот уже третий год моего литературного поприща, и я как в аду. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходит за невременьем. Хочется остановиться. Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад... Тут бедность, срочная работа,—кабы покой!..." Безденежье и литературные неудачи постоянно навевают тяжелые мысли.

„Двойник" не удался, не удался до того, что он опротивел самому Достоевскому. На эту неудачу он не раз жалуется в письмах, говоря: „и „наши". Белинский, все недовольны мною за Голядкина... Вся публика нашла, что до того Двойник „скучен", вял, что читать нет возможности". Но особенно поразил Достоевского неуспех „Хозяйки" (1847). Действительно, это очень слабая в литературном отно-

шении вещь, но почему-то, по какому-то самообману творчества, Достоевский писал ее с громадным увлечением. „Это не то что Прохарчин,—говорит он,—которым я страдал все лето". Не дописав еще рассказа до конца, он думал, что выходить лучше „Бедных людей". Между тем рассказ не только никому не понравился, но Белинский назвал его нервической чепухой, и с литературной точки зрения был совершенно прав. Над Достоевским начали уже посмеиваться. Про него говорили, что он исписался. Иногда он и сам так думал. Он напрягал свои последние силы, чтобы создать нечто крупное, но по торопливости у него ничего не выходило. Настроение духа было ужасно. Это было настр ение таланта, закабалившего себя в положение литературного поденщика, настроение нервного впечатлительного человека, хотевшего сразу добиться всего и терявшего все больше изо-дня в день. Он работал судорогами, ежеминутно перебегая от восторга перед самим собой к полному отчаянию. „Я все!"—„я нуль!" —он то и дело перескакивал с одного полюса на другой.

Болезнь между тем принимала опасную форму. Это была болезнь не тела, а духа: Достоевский был не столько болен в действительности, сколько воображал себя больным. Он постоянно лечился. То ему казалось, что он сходит с ума, то полагал в себе чуть-ли не чахотку. От мнительности он и на самом деле хворал. Его любимым развлечением было читать медицинские книжки и выискивать в себе опасные симптомы. Он мучился и доходил до того что становился невыносимым сам себе. Он сам себе надоел и опротивел до последней степени возможного. С нетерпением, принимавшим форму страстного эффекта, он ждал от жизни какого то толчка, какой нибудь встряски. То и дело восклицает он: „когда же все это переменится, когда все это кончится" Неудовлетворенное самолюбие мучило его, самая жизнь пугала. Она грозила ему нуждой, всяческими ужасами. рисовала ему картины чуть-ли не голодной смерти или смерти в больнице. Утомленный физически, надломленный и надорванный нравственно, он все яснее сознавал, что *так* жить больше он не может. А как жить—он не знал. Литературная лямка давила и язвила плечи. От нее ломило грудь и между тем по слабости духа он тянул ее без отдыха, тянул изо дня в день, мутно, беспельно, с каким-то отчаянием смотря вперед, в будущее!.. Все время он как будто страдал от тяжелого предчувствия: оно оправдалось.

IV.

Кружок Петрашевского.—Арест.—Ссылка на каторгу.—Влияние каторги на характер и миросозерцание Достоевского.

40-вые годы были эпохой сильного, хотя и невиданнаго брожения. Мы еще и теперь во многом продолжаем жить на их счет. В это время интеллигентная русская мысль приняла новую форму, новую форму приняла и литература. После долгого блуждания по дебрям немецкой идеалистической философии, русская мысль пришла наконец к сознанию задач общественных и гражданских: благодаря этому и литература приняла иной характер, так как и она стала сознавать себя общественной силой. Появилось понятие о направлении

Эта новая фаза сознания прекрасно обрисована Белинским в словах, относящихся еще к 1842-му году. „Дух нашего времени таков, говорит великий критик, что величайшая творческая сила может только изумить на время, если она ограничится птичьим пением, создаст себе свой мир, не имеющий ничего общего с исторической и философской действительностью современности, если она вообразить, что земля недостойна ее, что ее место на облаках, что мирские страдания и надежды не должны смущать ее поэтических видений и таинственных созерцаний. С одним естественным талантом не далеко уйдешь. Талант имеет нужду в разумном содержании, как огонь в масле, чтобы не погаснуть. Свобода творчества легко согласуется с служением современности. Для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазию; для этого нужно быть только гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями. Для этого нужна симпатия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которая не отделяет убеждения от дела, сочинения от жизни".

Интеллигентная мысль принимала все более и более практический характер. В какое нибудь десятилетие она сделала громадный переход от немецкого оптимистического идеализма к социализму. Милютин в это время (конец 40 х годов) начал писать свои политико экономические этюды. Валерьян Майков свои критические статьи. Между прочим все чаще и чаще высказывались вот какие мысли: „самое важное характерное явление современной жизни заключается в сильном стремлении общества к материальным интересам. Вещественное благосостояние человека занимает умы всех сословий. Удобство земного существования, довольство—вот главный вопрос, вопиющая забота нашего века. Метафизическая эпоха германской жизни кончилась; внимание и надежды обратились к требованиям общественной жизни, которой нечего делать в холодной отвлеченности философских систем. Первенство принадлежит наукам общественным, интересы действительности должны быть разлиты по всему обществу и главная задача науки показать законы равномерного распределения блага по всем классам“ („Отеч. Зап.“ 1848 г., кн. X).

Настроение, вызвавшее такие мысли, понять не трудно; не трудно и определить, как должно было такое настроение смотреть на крепостное право Оно могло его отрицать не только уже с филантропической точки зрения или во имя общечеловеческой справедливости, но и ясно понимать его экономический и политический вред Французская литература (Жорж Занд), масса либеральных сочинений, проникнувших в Россию контрабандным путем, укрепили русскую мысль в этой практической точке зрения. Молодежь бродила, она устраивала кружки, ассоциации. Самый известный был кружок Петрашевского и другие, зависящие от него К одному из них, Дуровскому, принадлежал и Достоевский.

„Дуровцы“, как вспоминает Милюков в своих беседах, „не мало сетовали на строгость цензуры. Но особенно занимали их политические вопросы и прежде всего вопрос об освобождении крестьян“. Да и как он мог не занимать, напр., Достоевского, когда тот вырос на Шиллере, Гуго, Жорж Занде и всегда всю жизнь свою стоял на стороне униженных и оскорбленных. Но о революции Достоевский ни о какой не мечтал. Он прямо говорил, что народ наш не пойдет по стопам европейских

революционеров. „Я помню,—прибавляет Милюков,—как с обычной своей энергией Достоевский читал стихотворение Пушкина „Уединение". Как теперь слышу восторженный голос, с каким он произносил заключительный куплет:

„Увижу-ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет-ли, наконец, прекрасная заря?"

Только раз Достоевский вспылил и увлекся. Когда однажды спор зашел на вопрос: „ну, а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе, как через восстание?"—Достоевский воскликнул:—„так хотя бы через восстание!".. На следствии „Достоевский, сознаваясь в участии в разговорах о возможности некоторых перемен и улучшений, отозвался, что предполагал ожидать этого от правительства". В кружке на Достоевского, возлагались большие надежды как на пропагатора. „Как теперь, рассказывает Дебу, вижу я перед собою Фед. Мих. на одном из вечеров у Петрашевского, вижу и слышу его рассказывающим о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель финляндского полка, или же о том, как поступают помещики со своими крепостными. Не менее живо помню его, рассказывающего свою „Неточку Незванову" гораздо полнее, чем она была напечатана. Помню, с каким живым, человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному продукту, олицетворением которого явилась у него впоследствии Сонечка Мармеладова"... В общем же взгляды и программа петрашевцев сводилась к тому, чтобы при помощи кружков и пропаганды возбудить общество сначала к ненависти, а потом и к уничтожению крепостного права. Но ни о какой „конституции" они не мечтали, наоборот даже—презирали ее. Из европейских учений они проникались прежде всего социализмом по формулам и картинам, данным Фурье. К современному же европейскому строю они относились так же отрицательно, как и к русскому.

У Достоевского это осталось навсегда. Когда он в „Дневнике" говорит о современном положении Европы, он повторяет мысли петрашевцев. Вот они: „Новые победители мира (буржуа, третье сословие) оказались, может быть еще хуже прежних деспотов, а свобода, равенство и братство оказались лишь громкими фразами... Политическая смена победи-

телей не принесла никаких результатов: в жизни осталось униженных и оскорбленных столько же, сколько их было и раньше, если не больше того. Великая революция (17 9) не решила ни одного специального вопроса, не примирила основного противоречия богатства и бедности. В Европе богатство и бедность стоят друг против друга с оружием в руках. В этом ее страшное зло в этом угроза будущих кровавых революций. А Россия (прибавляет впоследствии Достоевский уже после периода реформ) сразу порешила вопрос с пролетариатом, освободив крестьян с землею"..

Но в 1849 г. крестьяне еще не были освобождены, и Достоевский стал революционером.

Достоевский-революционер... Неправда-ли, эти два слова друг с другом не вяжутся. Мы привыкли считать Достоевского за искреннего и убежденного христианина, за проповедника мрачной веры в очищающую силу страдания... И вдруг он оказывается готовым выйти на площадь чуть не с красным флагом в руках и провозгласить новую жизнь по тому самому праву, которое он впоследствии так энергично и даже с такой ненавистью отрицал. Что побудило его к этому? Можно прямо утверждать, что никакой доктрины в голове у него не было и ни из за какой доктрины он не действовал. Это, прежде всего человек чувства, живущий конкретными впечатлениями, боязливый и мнительный, но способный на взрывы своеволия, именно благодаря своей мнительности и боязливости. Фанатик и доктринер Петрашевский не нравился ему от начала до конца. Но личное доброе чувство его было возмущено постоянно повторяющимися перед его глазами сценами насилия. Певец униженных и оскорбленных, благодаря неудачам, благодаря своей собственной мрачной жизни, вдруг, на время, почувствовал против нее какую-то ожесточенную злобу. Он решил восстать на нее, найдя для этого силы в своем собственном отчаянии. Так бывает, и бывает нередко: мгновенные резкие вспышки — удел слабых и недисциплинированных натур; сила их не сила воли, убеждения, а сила отчаяния... Результатом этого был сначала арест, потом—ссылка. Взятый в ночь на 22 апреля 1849-го года, Достоевский вместе с другими попал в крепость и, конечно, в одиночное заключение.

Первое время он как будто не очень даже был поражен

этим обстоятельством; много читал, задумал два романа и три повести и довольно бодро смотрел на будущее.

Больше всего заботился он, повидимому, не о своей собственной судьбе, а о судьбе брата своего Михаила, человека уже семейного и по ошибке арестованного вместе с ним. Вот что пишет он ему из крепости: „Я несказанно обрадовался, любезный брат, письму твоему Получил я его 11-го июня. Наконец-то ты на свободе, и воображаю, какое счастье было для тебя увидеться с семьей. То-то они, думаю, ждали тебя! Вижу, что ты уже начинаешь устраиваться по новому. Чем-то ты теперь занят и, главное, чем ты живешь? Есть-ли работа и что именно ты работаешь? Легко в городе тяжело! Да к тому-же ты говоришь, что взял другую квартиру и уже вероятно теснее!.... Сам он „не унывает“. „Конечно, пишет он, скучно и тошно да что-же делать? Впрочем не всегда и скучно. Вообще мое время идет чрезвычайно неровно,—то слишком скоро, то тянется. Другой раз даже чувствуешь, что как будто уже привык к такой жизни и что все равно. Я конечно гоню все соблазны от воображения, но другой раз с ними не справишься, а прежняя жизнь так и ломится в душу с прежними впечатлениями и прошлое переживается снова. Да, впрочем, это в порядке вещей. Теперь большею частью ясные дни и немного веселее стало Но ненастные дни невыносимее. Каземат смотрит суровее... Времени даром я не терял: выдумал три повести и два романа; один из них пишу теперь, но боюсь работать много!...“ „Сплю я, продолжает он, -часов 5 в сутки и раза по четыре в ночь просыпаюсь. Всего тяжелее время, когда смеркается, а в 9 часов у нас темно... Как бы я желал хоть один день пробыть с вами! Вот уж скоро три месяца нашего заключения; что-то дальше будет. Я только и желаю, чтобы быть здоровым, а скука дело переходное, да и хорошее расположение духа зависит от меня одного. В человеке бездна тягучести и жизненности, и я, право, не думал, чтобы было столько, а теперь узнал по опыту...“ Следующее письмо из крепости написано уже в более минорном тоне, но видно, что Достоевский по прежнему продолжает бороться и что в самой глубине души его все еще не исчезает надежда на возможность возвращения к жизни, оставленной за стенами крепости. „На счет себя, пишет он, ничего не могу сказать определенного. Все та-же неизвестность касательно

нашего дела. Частная жизнь моя попрежнему однообразна; но мне опять позволили гулять в саду, в котором 17 деревьев. И это для меня счастье. Кроме того я могу иметь теперь свечу по вечерам—и вот другое счастье. Третье будет, если ты мне поскорее ответишь и пришлешь „Отеч. Зап.“; ибо я в качестве иногороднего подписчика, жду их как эпохи, как соскучившийся помещик в провинции. Хочешь мне прислать исторических сочинений? Это будет превосходно... Но всего лучше, если бы ты прислал мне Библию... О здоровье моем ничего не могу сказать хорошего. Вот уже целый месяц, как я просто ем касторовое масло, и тем только и пробиваюсь на свете. Геморой мой ожесточился до последней степени, и я чувствую грудную боль, которой прежде не бывало... Но и к тому-же, особенно к ночи, усиливается впечатлительность; по ночам длинные, безобразные сны и, сверх того, с недавнего времени мне все кажется, что подо мной колышется пол, и я в моей комнате сижу словно в пароходной каюте“...

По окончательному приговору суда Достоевский был отправлен на каторгу, в Омский острог, сроком на 4 года.

* * *

Дорога до Тобольска прошла благополучно, только часто случалось отмораживать себе или пальцы, или нос, или уши. „Когда мы в Тобольске уже—вспоминает Достоевский—в ожидании дальнейшей участи, сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя и устроили на квартире его свидание с нами. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого наделили Евангелием—единственная книга, полезная в остроге“. Из Тобольска Достоевского и Дурова отправили в Омск, во „второй разряд каторги“.

Началась многострадальная жизнь... Но мы не будем много рассказывать о ней нашим читателям, а поговорим лучше, пользуясь случаем, об одном из замечательных произведений Достоевского—его „Записках из Мертвого Дома“. В них Достоевский сконцентрировал все свои острожные впечатления, в них он навеки заклеймил то „недавно е давнопрошедшее“, которое было вместе с другими недугами русской жизни уничтожено великими реформами минувшего царствования. Все рассказанное в „Записках“ было и ничего такого более нет: нет

ни ужасных майоров, именующих себя" майорами Божьей милостью", нет истерзанных и искалеченных под палками людей. Записки—исторический документ и, прочтя их, нельзя не воскликнуть: „слава Богу, что все это миновало". Как помнит читатель, рассказ ведется от лица некоего Александра Петровича дворянина, сосланного во второй разряд каторги за убийство жены.

„Второй разряд каторги, в котором я находился, говорит он, состоящий из крепостных арестантов под военным начальством, был несравненно тяжелее остальных двух разрядов, т. е. 3-го заводского и первого в рудниках. Тяжелее он был нетолько для дворян, но и для всех арестантов, именно потому, что начальство и устройство этого разряда все военное, очень похожее на арестантские роты в России. Военное начальство строже, порядки теснее: всегда в цепях, всегда под конвоем, всегда под замком; а этого нет в такой силе в первых двух разрядах".

Но, благодаря маленьким, имевшимся в запасе деньгам, это тяжелое положение хоть немного да облегчалось: арестант мог иметь чай со своим особым чайником и кое-какую дополнительную еду, хотя и острожная пища была, по его словам, сносна: хлеб даже славился в городе, зато щи изобиловали тараканами, на что арестанты впрочем не обращали ни малейшего внимания. „Помню ясно, говорится в „Записках"— что с первого шагу в этой жизни меня поразило то, что я их будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или, лучше сказать неожиданного. Мне показалось даже, что в остроге гораздо легче жить чем я воображал дорогой. Самая работа показалась мне вовсе не так тяжелой, каторжной, и только довольно долго спустя догадался что тягость и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она принужденная, обязательная, из-под палки". Работал он однако с усердием, „радостно", чтобы укрепить свое здоровье, и особенно любил скребать снег и толочь алебастр.

Первые три дня после прибытия на каторгу его не „гоняли" на работу, а дали отдохнуть и осмотреться. Но кроме этого никакой льготы не полагалось, и через три дня началась уже настоящая каторжная жизнь. Стоило ему только появиться в острожной казарме, как он немедленно-же увидел будущих сво-

их „сотоварищей“ и перед ним мелькнули десятки обезображенных, клейменных лиц. Тут были и „фальшивые монетчики“, и молоденький каторжный с тоненьким личиком, успевший уже зарезать 8 душ, и много мрачных угрюмых физиономий, обритых на пол головы и обезображенных, с ненавистью смотревших вокруг себя и между прочим на него, дворянина белоручку. Только войдя в свою казарму, арестант очутился *впервые* „среди дыма и копоти, среди ругательств и невыразимого цинизма, в мефитическом воздухе, при звоне кандалов, среди проклятий и бесстыдного хохота“. Весь изломанный и измученный от чудовищных впечатлений дня, он улегся на голых нарах, положив под голову свое платье, вместо подушки, которой, кстати сказать, у него не было, накрылся тулупом и постарался заснуть. Но сон не шел. Мрачные мысли копошились в голове, тяжелые, неясные предчувствия давили сердце. Он думал о будущем, о предстоящих ему четырех годах „такой“ жизни, которые разрастались в его воображении в целую вечность, и самым ужасным представлялось ему то, что все это время он „ни разу, ни одной минуты не будет один: на работе всегда под конвоем, дома с 200 товарищей и ни разу, ни разу один“. Товарищество поневоле, товарищество из под палки всегда тяжело, тем более здесь, в остроге, где оно к тому же постоянно. Народ собрался всякий: „иной из кантонистов, другой из черкесов, третий из раскольников, четвертый православный мужичек, семью, детей, милых оставил на родине, пятый — жид, шестой — цыган, седьмой — неизвестно кто. И все-то они должны ужиться вместе во что бы то ни стало, согласиться друг с другом, есть из одной чашки, спать на одних нарах“. Были, правда, и интеллигентные товарищи, но с ними повидимому, он не мог сойтись очень близко. Ему предстояло одиночество, убийственная по своему однообразию каторжная жизнь, полная мелочных неудобств и тяжелых мыслей. Один день был похож на другой как две капли воды и всю жизнь по необходимости приходилось сконцентрировать внутри себя. Попробуем же восстановить этот один день. Вставали рано, нехотя, особенно зимой, по барабану, умывались в ведрах, в воде сомнительной чистоты, и закусывали черным хлебом, если не было у кого своего чая. Уже с первой минуты после пробуждения зачастую начиналась

ссора и брань. Бранились и ссорились из-за всяких пустяков, бранились подолгу, аристически, с большим вниманием к этому искусству, с стремлением к особо ловким и обидным выражениям, что высоко ценилось в остроге. До драки дело не доходило, но постоянно могло дойти; только „товарищи", понимая, какие неудобства вызовет для всех эта самая драка, останавливали обыкновенно ссорившихся, раз замечали, что дело становится серьезным. Потом, с'евши по ломтю хлеба, каторжные после переклички отправлялись на работу. Шли партиями, обыкновенно молча, угрюмо Находились, правда, болтуны, старавшиеся забавлять других своим добровольным шутовством, но к ним относились с большим, подавляющим даже презрением, называя „бесполезными" людьми. Каторжные всеми способами старались поддерживать свое достоинство, понимая его, конечно, по своему. Это достоинство заключалось прежде всего в сдержанности, в „соблюдении себя", в своего рода угрюмой сосредоточенности. Так что разговаривали по душе мало, изредка переругивались. При встрече с кем нибудь просили милостыню. Раз как-то, вспоминает Алек. Петр., встретился нам по дороге мещанин, остановился и засунул руку в карман. „Из нашей кучки немедленно отделился арестант, снял шапку, принял подаяние пять копеек и проворно воротился к своим. Эти пять копеек в то же утро проели на калачах, разделив их на всю нашу партию по-ровну". Дойдя до места работы, принимались за нее большею частью неохотно: торопиться было некуда. Работа редко бывала со смыслом, обыкновенно выдумывалась просто для того, чтобы занять праздные руки. Заставляли например растаскивать старые барки, когда лесу вокруг было множество и он буквально ничего не стоил. Сами каторжные понимали, что дело их ненужно, и вяло, лениво стучали топорами. Оживление в работе чувствовалось только иногда, когда задавали „урок" и можно было при усердии окончить его скорее, чем значилось по росписанию. Тут уже бросали лень в сторону, появлялось даже соревнование. Арестант-дворянин старался работать как другие, но сначала это ему не удавалось. „Куда-бы я ни приткнулся помогать им во время работы, говорит он, везде я был не у места, везде мешал, везде меня отгоняли прочь чуть не с бранью". Даже самые последние из каторжан, парии острога, и те презрительно относились к дворянам-белоручкам. Потом для

них нашлась работа более подходящая: их стали посылать толочь алебастр, вертеть точильное колесо или за несколько верст на берег Иртыша на кирпичный завод. Томительное ощущение вызывала, вероятно, эта близость к природе, вид могучей спокойной реки, широкая, беспредельно тянувшаяся киргизская степь. Сердце просилось туда, в это приволье; но конвойные стояли на своих местах, тяжелые кандалы звякали при всяком движении. Арестант старался работать как можно усерднее, чтобы укрепить свое здоровье, и с радостью замечал, что это ему удается. „Физическая сила, говорит он, в каторге нужна не меньше нравственной для перенесения всех материальных неудобств этой проклятой жизни". После работы возвращались домой, в острог, обедали, потом ходили по двору, огороженному высоким зубчатым забором, и наконец после вечерней переклички, всех запирали по казармам. Засыпали, конечно, не сразу. По различным углам шли разговоры, рассказы, там играли в карты или в специально острожные скверные игры, там ссорились. Поставленная на ночь „парашка" распространяла вокруг себя ужасную вонь, бесчисленные острожные насекомые, особенно почему-то жестокие, не давали непривычному человеку заснуть по целым часам. Так проходили будни. В праздники, когда делать было совсем нечего, было еще тяжелее, томительнее. Алек. Петр. заполнял время прогулкой, считая и пересчитывая острожные „палцы", но это не разгоняло меланхолических дум. Только большие праздники вносили в жизнь некоторое оживление. Перед Пасхой говели. Это говенье в остроге оставило у героя „Записок" воспоминание на всю жизнь; „я давно, рассказывает он, не был в церкви. Великопостная служба, так знакомая еще с детства в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны—все это расшевелило в душе моей далеко-далеко мунувшее... и помню, мне очень было приятно, когда, бывало, утром по подмерзшей за ночь земле нас водили под конвоем, с заряженными ружьями, в Божий дом. В церкви мы становились тесной кучкой у самых дверей, в самом последнем месте. Я припоминал, как, бывало, еще в детстве, стоя в церкви я смотрел на простой народ, густо теснившийся у входа, и подобострастно расступившийся перед густым эполетом. Там у входа казалось мне, тогда и молились-то не так, как у нас, молились смиренно,

земно, с каким то полным сознанием своей приниженности. Теперь мне пришлось стоять на этих местах, даже и не на этих: мы были закованные и ошельмованные. От нас все сторонились, нас как будто боялись, нас каждый раз оделяли милостыней, и, помню, мне это было как-то и пятно, какое-то утонченное особенное ощущение сказывало в этом „удовольствии!“ В праздники и острог принимал праздничный вид. Каторжные надевали чистые рубахи, на лицах у всех было какое-то особенное выражение... но не надолго. В тот же вечер большинство лежали на нарах пьяные передравшиеся, безобразные. В воздухе - страшная ругань, невыносимая вонь; повсюду много свирепых или умильных пьяных лиц. Тоска от безделья, от нахлынувших праздничных воспоминаний детства, от безобразных сцен—заставляет бежать из казармы, хотя-бы на двор к заостренным палям острога. Однажды на Рождество каторжные устроили „театр.“ Острог оживился; новое дело заинтересовало всех. Каторжным было приятно, что им доверяют такое дело, что само начальство приходит смотреть на игру их товарищей актеров, что они на этот раз как-бы совсем люди, и в это время было больше бодрости, меньше ругани, пьянства, распутства. Гордые оказанным доверием, каторжные сами поддерживали дисциплину. „Только немного позволили этим людям пожить по своему, повеселиться по-людски, прожить хоть час не по острожному, и человек нравственно меняется хотя-бы на несколько минут“.

Льгот и послаблений дворянину никаких не делалось. Он носил те же кандалы, как и обыкновенные каторжники, ел ту-же пищу, ходил в том же костюме и делал ту же работу. Но ему, конечно, все это было вдесятеро тяжелее, чем другим. Как человек интеллигентный, он чувствовал ежеминутно такие лишения, которых не приходилось испытывать ни одному из его сотоварищей. Пришлось оставить привычку читать, так как книг в каторге читать не полагалось, допускали только Евангелие и библию, которую, кстати сказать, у него украли. Если грубое обращение вызывало тогда протест даже со стороны обыкновенных преступников, бывших крепостных, то легко себе представить каково было переносить ту-же самую грубость человеку культурному. Как-бы там не говорили, каторжная жизнь была тяжелая, мрачная...

Дуров угас в остроге: „вошел он в острог молодой, красивый, добрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой."—Выносить эту жизнь становилось иногда совсем не под силу. Тогда уходили обыкновенно в лазарет, где доктора были такие хорошие, ласковые. Материальные неудобства и всяческие стеснения были и здесь те-же самые, но „принудительность" жизни по известной программе чувствовалась меньше. Можно было полежать в волю, хотя и на скверной койке и в невозможном больничном халате, спать, не слушая барабана, не ходить на работу.

* *
*

Незаметно однако подошли мы к труднейшему вопросу о влиянии каторги на характер и миросозерцание Достоевского. Поэтому поводу говорят различно: сам Достоевский то проклинал эту жизнь, то как бу то благословлял ее. О. Миллер полагает, что жизнь на каторге, была „уроком народной правды для Достоевского". Майков решительно утверждает, что каторга была полезна. Ястжомский думает, что она развила литературный талант Мнения самого Достоевского противоречат одно другому. Н. К. Михайловский приписывает каторге влияние безусловно вредное, чисто отрицательное.

Вопрос, как кажется, неразрешим. Отвечать на него a priori—нельзя, так как на разных людей каторга несомненно произведет разное впечатление Одних она может доканать совершенно, как напр. Дурова, других озлобить, как Петрашевского, третьих смирить. Последнее выпало, повидимому на долю Достоевского. Он смирился до самой глубины своего миросозерцания, но опять-таки нельзя утверждать, что оно стало совсем другим после каторги. Мистические идеи бродили в нем и раньше, уважением к христианству он был проникнут и до каторги. Самый темперамент его, как увидим ниже, остался в сущности тем-же неровным, истеричным, склонным к меланхолии. Правда, Достоевский в письмах из Семипалатинска утверждает, что он совершенно другой и меланхолия исчезла без следа. Но все это было в самом начале после выхода из острога, когда меланхолия действительно неуместна. Потом Достоевский говорил, что на каторге он сошелся и братски соединился с народом, но тут-же прибавляет, что ему трудно было бы рассказать историю перерож-

дения его убеждений. „Да и произошло-то это перерождение постепенно, после долгого времени".

Но совершенно в стороне оставить вопроса нельзя. Попытаемся же по мере сил ответить на него без всякой предвзятой мысли и только на основании данных биографии. Если рассуждать по пословице „все хорошо, что хорошо кончается", то, быть может, в известном смысле и каторга была полезна. Мы уже видели, что настроение Достоевского до ареста было во всех отношениях ужасно и грозило разрешиться самоубийством. Жизнь без признака воли, торопливая, нетерпеливая жизнь—вот что говорит нам биография о периоде, предшествовавшем аресту. Достоевский мучительно ожидал какого-нибудь толчка, какой нибудь перемены. Судьбе было угодно отправить его в Омский острог. Какой путь приняла бы его жизнь без этого постороннего вмешательства—сказать трудно; может быть он покончил бы с собой, может быть стал бы революционером столько-же по убеждению, сколько от отчаяния к себе, может быть время помогло-бы ему дисциплинироваться. Все это одинаково вероятно и одинаково гадательно. Толчек явился извне. Мы видели, что он не особенно даже поразил Достоевского, так как душевный кризис назрел и требовал разрешения. Но ведь отсюда не следует, чтобы каторга прошла без следа. Оставляя в стороне вопрос о ее влиянии на здоровье, литературный талант и пр., твердо вместе с тем убежденные, что здоровье лучше поправить в больнице, чем в остроге, и что литературный талант для своего расцвета совсем не требует такой радикальной перемены климата и обстановки, мы думаем, что вообще-то каторга произвела на Достоевского впечатление *подавляющее*, в широком смысле слова. Правда, мысль, что он мог не в пример прочим перенести такое тяжелое испытание, что самое тяжелое в жизни пройдено, придавала ему бодрости, но эта бодрость не выходила за пределы личной жизни и личной деятельности. Во всех других сферах Достоевский как-то заметно сократился. Нечего и говорить, что повторение петрашевской истории стало для него совсем немыслимым после четырехлетнего пребывания в остроге. От активной борьбы с жизнью он отказался, хотя и прежде-то он брался за нее скорее от отчаяния, чем от какой другой причины. Он смирился в том смысле, что, видя

целые годы вокруг себя непреоборимые преграды, слишком глубоко проникся сознанием своей личной слабости перед окружающими его условиями. Формула „как хочу, так и делаю" была уже совсем неприложима на каторге. Острог—это сила, совершенно придавившая, уничтожившая личное „я". И Достоевский как нельзя более проникся этим внушением. Все, темперамент, взгляды остались те-же, но известного рода трусливость, запуганность перед жизнью, и раньше бывшие в нем, резче, яснее выступили наружу и совсем оттеснили на задний план прежние взрывы своеволия.

Мысль эта кажется проста, но, чтобы лучше убедиться в ней, обратимся к характеристике внутренней жизни Достоевского на каторге, когда подавляющее впечатление последней станет на наш взгляд очевидным.

Особенно мучило Достоевского то, что он был „не в своем обществе",—совсем чужим для всех своих невольных товарищей. Дворянство, образование полагало между ними непроходимую пропасть.

„Важнее всего этого то, говорит он, что всякий из новоприбывающих в острог, через два часа по прибытии, становится таким-же, как и все другие, становится у себя дома, таким-же равноправным хозяином острожной артели, как и всякий другой. Он всем понятен, и сам всех понимает, всем знаком, и все считают его за своего. *Не то с благородным, дворянином... Как ни будь он справедлив, добр, умен—его целые годы будут ненавидеть и презирать все, целой массой: его не поймут, и главное, не поверят ему.* Он не друг и не товарищ, и хоть достигнет он наконец, с годами, того, что его обижать не будут, но все-таки он будет не свой, и вечно мучительно будет сознавать свое одиночество и отчужденье. Это отчуждение делается иногда совсем без злобы со стороны арестантов, а так, бессознательно. Не свой человек, да и только; а ничего нет ужаснее, как жить не в своей среде. Мужик же, переведенный из Таганрога в Петропавловский порт, тотчас же найдет такого-же точно русского мужика, тотчас же сговорится и сладится с ним, а через два часа они пожалуй заживут самым мирным образом в одной избе или шалаше". Волей-неволей Достоевскому пришлось помириться с своим уединением и сосредоточиться

исключительно на жизни внутренней, жизни своего сердца.

„Несмотря на сотни товарищей,—говорит он,—я был в страшном уединении и полюбил, наконец, это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирая все, до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя один неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уж не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертил себе программу всего будущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я все это исполню и могу исполнить. Я ждал, я звал поскорее свободу; я хотел испробовать себя вновь, на новой борьбе. Порой захватывало меня судорожное нетерпение. Но мне было больно вспоминать теперь о тогдашнем настроении души моей".

Тяжело это, конечно, чувствовать себя одиноким среди сотни товарищей, не иметь человека, с которым можно бы поделиться думами своего наболевшего сердца,—еще тяжелее укрощать в себе постоянно накапливающуюся энергию, судорожные порывы к деятельности,—ограничить свою жизнь одним углублением в себя самого, в воспоминания о прежних ошибках и заблуждениях, и наблюдать все ту-же однообразную, уж опостылевшую обстановку. В этих грязных и мрачных палатах, среди чужих людей, не понимавших его, не веровавших в него, Достоевский все больше и больше, в глубине души своей, стал проникаться смирением. Могучим потоком лилось оно из постоянно читавшегося и перечитывавшегося Евангелия, из всей окружающей его обстановки, в сравнении с которой он мог не чувствовать себя таким ничтожным.

Сила жизни, представляемая этими высокими стенами острога, через которые *нельзя* пройти, этой жестокостью и вместе с тем *непреложностью* установленных кем-то другим правил, которые распоряжаются тобой как хотят, без всякого внимания к *личной* твоей воле, без всякой заботы о личном твоем счастье, наконец эта внушительная масса клей-

менных каторжных, не хотящих признавать тебя, верить в тебя, прямо тебя *отрицающих*—все это произвело, да и не могло не произвести, на личность Достоевского подавляющее впечатление.

Самая жизнь заставила его смириться, и в этом новом настроении духа он осудил самого себя, свои прежние увлечения, свою прошлую деятельность, потому что вся она имела источником—сознание своей силы, служение своей воле, властное и требовательное отношение к жизни вообще.

В этом раскаянии, в этом признании, что постигшая его кара вызвана его же собственными ошибками, заслужена —он находил своеобразное и вместе с тем вполне понятное утешение. Это не фатализм, но простой вывод из христианского учения: личность свободна, а значит и ответственна.

Читая одно Евангелие, видя себя постоянно одиноким, маленьким, он стремился. Но отсюда до мистицизма еще далеко. Надо согласиться, что в „Записках из Мертвого Дома" даже не пахнет мистицизмом—а написаны они уже 10 л. спустя после каторги; в них даже удивительно трезвый, удивительно здоровый взгляд на человека и требования человеческой природы. Но уже с этого времени личность в отношении к себе Достоевский стал, прежде всего, проповедывать смирение, отрицать всякое властное, требовательное стремление в жизни. Жизнь большая, удивительно большая, *таинственной глубины* вещь. Не тебе, маленькому, слабосильному человеку, восставать против нее. Ты и работать-то не умеешь, и понимать жизни не умеешь: просто не знаешь ее. Чего надо тебе? Своего счастья? удовлетворения всех своих желаний? Но разве этого достаточно? Разве это не худшее рабство в руках собственных страстей? Смирись прежде всего сам. Посмотри, чем жил ты, что в тебе есть, сколько там на дне души твоей, мелочности, подлости, пошлости. И не подступайся к народу с *своим* идеалом счастья, не навязывай ему *своего*: он знать тебя не хочет, он не верит в тебя. Заслужи сначала его любовь, его расположение, его доверие. А способен ли ты хоть на это, хоть на эту дозу самоотречения и самоограничения, наградой за которое является и любовь, и доверие?.. Господствующей мыслью миросозерцания становится: подавление своего „я" и *смиренное* служение другим.

Но вернемся к рассказу Несмотря на смирение и самобичевание, неутолимая жажда жизни оставалась. Достоевский хотя и называл, но совсем не считал себя „отрезанным ломтем". Покинутая за Иртышем жизнь, оставленные там надежды не исчезли не совсем. „Каторга будет длиться не вечность же,— рассуждал он.—После нее выйду на свободу, писать буду. Только не забыли ли *они* меня, примут ли они меня опять в свою среду? Не отстал ли я от них?" Однажды в руки ему попала книга журнала. Посмотрите, с какой страстью набрасывается он на нее...

„Помню, я начал читать с вечера, когда заперли казарму, и прочитал всю ночь до зари. Это был номер одного журнала. Точно весть с того света прилетела ко мне; прежняя жизнь вся ярко и светло восстала передо мною, и я старался угадать по прочитанному, много ли я отстал от этой жизни? много ли они прожили там без меня; что их теперь волнует, какие вопросы их теперь занимают? Я придирался к словам, читал между строчками, старался находить таинственный смысл, намеки на прежнее; отыскивал следы того, что прежде, в мое время, волновало людей, и как грустно мне было теперь на деле сознать, до какой степени я был чужой в новой жизни, стал ломтем отрезанным".

Между тем проходили годы. Наступал и последний.

„С каким нетерпением,—говорит он,—я ждал зимы, с каким наслаждением смотрел в конце лета, как вянет лист на дереве и блекнет трава в степи" (на что люди в нормальном положении смотрят всегда так грустно)... „Настала наконец и эта зима, давно ожидаемая... Но странное дело! чем ближе подходил срок, тем терпеливее и терпеливее я становился... Замечу здесь мимоходом, что вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у нас в остроге как-то свободнее настоящей свободы, т. е. той, которая есть на самом деле, в действительности". „Накануне самого последнего дня,—вспоминает Достоевский,—я обошел в последний раз около паль весь наш острог... Здесь, здесь за казармами скитался я в первый год моей каторги один, сиротливый, убитый. Помню, как считал я тогда, сколько тысяч дней мне остается... На другое утро рано, еще перед выходом на работу, когда только еще начинало светать, обошел

я все казармы, чтобы попрощаться со всеми арестантами. Много мозолистых, сильных рук протянулось ко мне приветливо. Иные жали их совсем по-товарищески, но таких было немного. Другие уже очень хорошо понимали, что я сейчас стану совсем другой человек, чем они... и прощались со мной хоть и приветливо, хоть и ласково, но далеко не как с товарищем, а будто с барином. Иные отвертывались от меня и сурово не отвечали на мое прощание. Некоторые посмотрели даже с какою-то ненавистью"...

Но все же годы испытания кончились. „Да, с Богом!— восклицает сам Достоевский. Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых... Экая славная минута!.."

* * *

Срок каторги окончился 2-го марта 1854 г. По окончании его, Достоевский был зачислен рядовым в сибирский № 7 линейный батальон; 1-го октября был произведен в прапорщики с оставлением при том же батальоне. Почти немедленно за этим возобновилась его переписка с родными и друзьями, возобновилась и его литературная деятельность. Будучи в Сибири, он писал „Дядюшкин сон", „Село Степанчиково". Тут же было задумано одно из лучших его произведений, „Записки из Мертвого Дома".

Пора однако, в виду новых событий в жизни Достоевского начать новую главу.

V.

Возвращение из ссылки.—Издание „Времени“ и „Эпохи“.—Женитьба.—Годы—за границей.

Из времени пребывания Достоевского в Сибири (после каторги) мы пропустили один эпизод—если и не особенно, быть может, важный, то все-же, надо думать, очень характерный. Мы разумеем любовь к М. Д. Исаевой, закончившуюся женитьбой на ней Достоевского, в Кузнецке. *Кто* была М. Д.—мы отчасти знаем, *что* такое была она, остается неизвестным и до сей поры. Хотя Достоевский и вышел из острога больной (у него появилась падучая), без денег но жажда жизни была сильнее всего: он поспешил влюбиться. Его любовь, как кажется, первая в жизни была настоящей страстью. Как страсть, она вызывала ужасные муки томления, ревности. Повидимому, и М. Д. была не из спокойных людей, а такая же подозрительная, ревнивая, мучительная натура, как и Достоевский. Легко вообразить себе их взаимные отношения, особенно если припомнить, что оба в то время были буквально нищие люди, что еще увеличивало их и так уже тревожное настроение. Достоевский любил, повидимому, с каким-то самоотвержением. По крайней мере когда после одной из бесчисленных ссор и „расставаний“ будущая жена его увлеклась кем-то другим, вот, что писал он о ней барону Врангелю, не совсем удачно приняв на себя (вернее, *вообразив*) роль друга: „Нельзя-ли пошевелить это дело (т. е. выдачу пособия), чтобы оно решалось в пользу Марьи Дмитриевны. В ее положении такая сумма целый капитал, а в теперешнем положении—ее единственный выход. Я трепещу, чтобы она, не дождавшись этих денег, не вышла замуж. У *него* (кто это *он* - неизвестно), ничего нет, у ней—тоже“. После этой ссоры, влюбленные

однако примирились. Через несколько месяцев Достоевский пишет тому-же Врангелю: „Если не помешает одно обстоятельство, то я до масляницы женюсь—вы знаете на ком. Она же (Мар. Дм.) любит меня до сих пор. Она сама сказала мне: *„да“. То, что я писал вам об ней летом* (об ее увлечении другим), мало имело влияния на ее привязанность ко мне. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще я тем, по письмам ее, я знал об этом. Мне все было открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если бы вы знали, что это за женщина!“ Это уже тон восторженно влюбленного. Повторяю, эпизод очень характерный, хотя и страшно скомканный, как в биографии, так и в воспоминаниях и даже в письмах. Любопытна вот какая черта: Достоевский, сам страстно влюбленный, берет на себя роль друга во время разрыва, устраивает, по крайней мере, заботится о чужом благополучии на ерекор собственному, и это несмотря на свою страсть, на всю свою ревнивость. Момент сложный, едва затронутый самим Достоевским в его романе „Бесы“... Что это—самопожертвование, психопатическое смирение или, наконец, невероятная способность *самосочинения*, которой так много у Достоевского? Вообразит себя человек вот таким то, потом и действует по воображенному образцу.

Но все же несомненно, что Достоевский любил. Сам он в последствии (1865 г.) в письме к Врангелю, так характеризует свою семейную жизнь с Марией Дмитриевной: „Другое существо любившее меня и которое я любил без меры, жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей от чахотки. Я переехал вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 1864 г. и 16 апреля прошлого года она скончалась в полной памяти, прощаясь, вспоминая всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспомнила и об вас. Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О друг, мой, она любила меня безпредельно, я любил ее тоже без меры, *но мы не жили с нею счастливо*. Все расскажу вам при свидании,—теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному мнительному и болезненно фантастическому характеру), мы не могли перестать любить друг друга, даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это,

а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла,—я хотя мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть я ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею,—но никак не мог вообразить до какой степени стало больно, и пусто в моей жизни когда ее засыпали землею. И вот уже год, и чувство все то же, не уменьшается ...

Как бы то ни было, Достоевский сейчас-же после каторги вступил в свою колею. Это—колея авансов, безденежья, литературной кабалы. Но тут уже она вызывалась действительной необходимостью. Сотни были забраны у Каткова, Кушелева и т. д. Плещеев одолжил Достоевскому 1000 р. Эти деньги просто спасли его, и, благодаря им, он мог выбраться из Сибири. Кстати: напрасно, повторяю, Достоевский, а за ним и другие полагали, что каторга исцелила его от душевной болезни. Это уж слишком дешевая мысль. А наговорили по поводу ее куда как много. И О. Миллер наговорил, и Майков наговорил. Не в них однако дело: дело в том, что Достоевский остался таким же истерическим, мнительным, истеричным, неуверенным в себе, как и до ссылки. Это дальнейшая биография его подтверждает. Уж терпения в нем не было никакого. Он и едя из Сибири пишет на манер Карамзинских, и прошениями забрасывает, и просто мечется на одном месте. В офицеры вышел—сейчас в отставку, потом сейчас—в Тверь, потом сейчас—в Петербург. Хлопот много, беспокойств куча, начаты десятки произведений, в голове ежеминутно зарождаются новые темы. Наконец-то зимою 1859 г. он, благодаря стараниям и собственным, в друзей, очутился в Петербурге с женой и пасынком.

* * *

Надо припомнить какое это было время. Тогда начались и почти уже заканчивались так называемые 60-ые годы, по пословице „без году неделя". Но сделано за эти *они* было так много, что мы еще и теперь доделываем и переделываем тогда начатое. За эту эпоху обыватель получил *личность*, да еще какую, всю совокупность тех качеств, которые украшают человеческую особь: право говорить, писать, даже думать по своему, т. е. совсем не по программе, изложенной в знаменитых стихах Фелицы. Как люди многоопытные и многозна-

ющие, мы не можем, конечно, не произнести без некоторой усмешки: идеалист был обыватель 60-х годов; но его идеализм был идеализмом земли. Он заботился о земном счастье всех, интересовался только практическими вопросами и задачами, с презрением отвергал всякую метафизику и схоластику, и твердо верил, что завтра „все это исполнится". Общественное возбуждение было громадно. Происходила всеобщая эмансипация—мужика, детей, гражданина. Все считали себя призванными решать, а если не решать, то по крайней мере обсуждать. Обсуждали действительно много... и надо согласиться, что в темах для обсуждения недостатка не чувствовалось: новая жизнь, новые принципы, с такой гениальной смелостью, с такой глубокой внутренней правдой провозглашенные с высоты престола, должны были, как всеми это сознавалось, открыть новую эру и новый период русской истории. *Старое* возбуждало негодование, ненависть, злобу. Точно проснувшись от векового сна, обыватель осмотрелся и увидел, что куда ни кинь —повсюду традиция и притом „не из лучших", повсюду недостатки и притом коренные. Там—тьма невежества, здесь лицемерие, в третьем месте приниженность, от которой и больно, и совестно становится на душе. Работы—сколько угодно; надо сносить целые груды мусора, под которыми бессильно и со стоном пропадает свободный человек, надо ободрять прежде всего этого самого человека, слишком робкого и забитого, чтобы можно было ожидать от него каких либо целесообразных поступков. Очертя голову люди принялись за работу; к тому же самому делу с восторгом и умением протягивались тысячи рук, все были полны веры в будущее и даже в ближайший завтрашний день. Обывателю некогда было передохнуть и задуматься, некогда было засесть в свой кабинет и сочинять философские системы, с тем, чтобы с точки зрения общих принципов оправдывать свои поступки. Понукаемый верой в необходимость все пересоздать и все переустроить, постоянно занятый удовлетворением все новых и новых потребностей жизни, обыватель любит мысли ясные и общедоступные, так сказать, прямо ведущие к делу, „Просвещение полезно"—говорит обыватель и сейчас же в его голове возникала картина такого жизнеустройства, когда в каждой деревушке и притом на самом видном месте будет стоять школа, а в ней „любящий и преданный своему делу препода-

тель" станет толковать своим ученикам, что никакой буки на свете нет, а есть только одно невежество и тьма непонимания... „Женщины хотят учиться!"—„Ну, и пускай их учатся!" восклицал обыватель и начинал проект о пятиэтажном здании, в котором не токмо краткие начатки, но и высшая математика будет преподаваться интересующимся ими дамам и барышням. Обыватель того времени терпеть не мог ни эстетики, ни покаяния, ни философии, предпочитая им краткия правила, с которыми можно сейчас-же приступить к осушению болот и обращению бесплодных степей в засеянную ниву. Вечно преследуя практические цели, он был несколько доктринером, несколько нетерпимым, немного педантом и скучным. Гнался он не за оригинальным, а за полезным; без всякого сожаления выбрасывал он из головы те мысли, которые мешали его работе и заставляли с меланхолическим видом спрашивать о целях бытия. „Ну, что-же такое, что я эгоист?" – восклицал он.—Мне может быть хорошо, когда всем хорошо, следовательно"... И он усаживался за писание какого-нибудь трактата о вентиляции. Он, т. е. тогдашний обыватель, был резок, с презрением отворачивался от споров на тему о свободе воли, начале всех начал и пр. „Свобода воли! горячился он... Позвольте... ведь пошехоновская губерния голодает... А почему голодает? Потому что кобылка весь хлеб с'ела А почему кобылка весь хлеб с'ела? Потому что мужик не знает, что с кобылкой делать? Потому что мы, баре интеллигентные, штудируем Гегеля и т. д. Работать надо, работать!" и обыватель с упоением бросался в самую свалку жизни...

Очевидно, какую роль при подобной точке зрения на жизнь должна была приобрести журналистика. Осматриваться и писать книги было некогда: жизнь шла так быстро, что и ежемесячники едва могли удовлетворять вдруг пробудившуюся в читателях потребность знать все и судить обо всем. Под напором общего возбуждения старая жизнь отступала, новое, являвшееся на ее место, требовало и новых сведений, и новых принципов. Писать книги, обобщать взгляды, систематизировать мнения было, повторяю, некогда, и журналистика приобрела первенствующее положение в деятельности русской интеллигенции. По своему практическому характеру она подходила, так сказать, вплотную к жизни, наскоро давала общие точки зрения и общие принципы,

не выпускал из виду факта жизни. Тот-же практический характер ее направления делал необходимой для него полемику и даже ожесточенную, так как ежеминутно задевались и личный эгоизм, и личные интересы. Словом, журнал стал всем, у него появилась своя философия, своя политика, своя поэзия и беллетристика: он был истинной осью русской интеллигентной мысли.

Достоевский не остался, конечно, в стороне. Вместе с своим братом он задумал издавать журнал «Время» и действительно издавал его слишком два года. Журнал пользовался успехом: на первый год у него было слишком 2 тысячи подписчиков, на второй около 4-х, потом 4 и т. д. Ф. Достоевский был и редактором и сотрудником. Работал он поразительно много. Кроме невидной, но бесконечно трудной редакторской работы, им написаны были для журн. «Униженные и оскорбленные» и «Записки из мертвого дома». Литературно-критических статей, фельетонов, заметок о заграничной поездке мы уже не считаем.

Сотрудники «Времени», потом «Эпохи» (Страхов, Достоевский, Ап. Григорьев) имеют особенное наименование: *почвенники*. По поводу этой «почвенности» нам надо сказать несколько слов. В сущности, это попытка примирить славянофильство и западничество в русском смысле, т. е. с целью создать самостоятельное русское миросозерцание. Совсем не увлекаясь панславизмом почвенники требовали для России безусловной гегемонии, признавали за ней как политическое, так и духовное первенство среди других славянских племен. У славянофилов они заимствовали идею о необходимости возвратиться к основам народной жизни, от которых нас отвлекла излишняя подражательность, излишнее лакейство и холопство перед Европой. Но европейской культуры они не отрицали, только требовали, чтобы она не подавляла русской самобытности, чтобы она была переработана и стала органическим элементом русской жизни. Европейская культура это только *средство, не цель* для выяснения русского самобытного духа, Россия велика, и велика именно в духовном, нравственном отношении. Она выше других государств, как представительница нравственного начала. Это нравственное начало примирит в конце концов все противоречия западной жизни, и построенная на нем русская культура завершит европейскую. Нравственное же начало, это начало *любви*, которая выше всех политических и эконо-

мических явлений. Поэтому: пользуясь европейской культурой, как средством, не надо забывать, что суть-то, цель не в том, чтобы стать европейцами, а в том, чтобы пробудить в себе заснувшую, заглохшую от холопства перед Европой *самобытность*.

Благодаря главным образом произведениям самого Достоевского «Время", повторяем, пользовалось успехом. Его погубила одна из самых странных статей, когда либо появлявшихся в русской литературе, статья Страхова «Роковой вопрос». Ее никто не понял. Многия из публики остались ею недовольны, так как полагали, что в ней выражена антипатия к полякам; «Московские Вед.» приняли статью за резкое полонофильское profession de foi, и петербурская цензура запретила за нее журнал.

О своей жизни за это время сам Достоевский рассказывает следующее: «Я сотрудничал своему брату во »Времени». Все шло прекрасно. Мой «Мертвый дом» сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репутацию. У брата были огромные долги при начале журнала, и те стали оплачиваться,—как вдруг в 1863 г., в мае, журнал был запрещен за одну самую горячую и патриотическую статью, которую ошибкой приняли за самую возмутительную... Дело скоро поняли как надо, но уж журнал был запрещен. Брат выхлопотал себе позволение продолжать журнал под названием »Эпоха». Позволение вышло только в конце февраля 1864 г. 1-й номер не мог появится раньше 20 го марта. Новых подписчиков не было, пришлось досылать «Эпоху» вместо «Времени» за 6 рублей в год. Брат должен был делать долги, здоровье же его стало расстраиваться. Меня подле него в это время не было. Я был в Москве подле умиравшей жены моей. Схоронил ее. Бросился в Петербург к брату,—он один у меня остался; через три месяца умер и он, прохворав всего месяц. После брата осталось всего 300 руб., и на эти деньги его похоронили. Кроме того до 25 т. долгу. Семейство его осталось буквально без всяких средств,—хоть ступай по миру. Я у них остался одной надеждой, и они все, и вдова и дети, сбились в кучу около меня, ожидая от меня спасения. Брата моего я любил бесконечно,—мог-ли я их оставить? – Я решился. Поехал в Москву, выпросил у старой и богатой моей

тетки 10000 рублей и, воротившись в Петербург, стал издавать журнал. Но дело было уже сильно испорчено: требовалось выпросить разрешение цензурное издавать журнал. Дело затянулось так, что только в конце августа могла появится июньская книжка. Подписчики, которым ни до чего дела нет, стали негодовать. Имени моего не позволяла мне поставить цензура ни как редактора, ни как издателя. Надо было решиться на меры энергические. Я стал печатать разом в трех типографиях, не жалел денег, не жалел здоровия и сил. Редактором был один я, читал корректуры, возился с авторами, с цензурой, поправлял статьи, доставал деньги, просиживал до шести часов утра спал по 5 часов в сутки и ввел в журнал порядок, но было уже поздно... На 1865 г. у нас осталось только 1300 подписчиков. Теперь мы не можем за неимением денег издавать журнал и должны об'явить временное банкротство, а на мне кроме того 16000 долгу по векселям и 5000 на честное слово.. О, друг мой, я охотно бы пошел опять в каторгу на столько-же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь опять начну писать роман из под полки, т. е. из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен. Но того-ли мне надо! Работа из нужды, из-за денег задавила, сгубила меня. И все таки для начала мне нужно теперь три тысячи! Бьюсь по всем углам, чтобы достать их,—иначе погибну! Чувствую, что только случай может спасти меня! Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня на душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянию Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние и вдобавок—один... А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно неправда-ли? Кошачья живучесть!..»

Начинается эпоха больших романов, какой то судорожной и порывистой деятельности, во время которой в груде неудобочитаемого, наскоро написанного материала вдруг мелькнет молния не знающего равного себе гения.

* * *

Летом 1865 года (после падения «Эпохи», смерти брата Михаила, а также первой жены) Достоевский уехал за границу Не смотря на ужасное состояние духа, болезнь, возню с кредиторами,

он каким то удивительным под'емом гения написал в это время лучший свой роман «Преступление и наказание». Успех был поразителен; роман читали и зачитывались им, и редкие недовольные голоса были как то совершенно неслышны. Здесь, в этом романе, Достоевский резко переменил тему и главным действующем лицом вывел уже не униженного и оскорбленного, а свой излюбленный впоследствии тип—кающегося нигилиста. Раскольников—это властный требовательный человек, который воображает, что он имеет какое то особенное, исключительное право на жизнь, что он один может восстать на все общество, «преступить» может все его узаконения, нравы, верования во имя своей личной воли, во имя требований своей личной мысли. За это Достоевский безжалостно казнит его, заставляет совершить уж совсем ненужное преступление (убийство Елизаветы) отправляет на каторгу. Душа такого гордого, самомнящего интеллигента нуждается в очищении. Это очищение может быть дано только страданием. Суть жизни, правда ее в смирении. Следовательно, в этом романе Достоевский выяснился и высказался вполне. Потом он постоянно повторяет ту же тему, постоянно злобствует, ненавидит оторванную от народа и христианской правды интеллигенцию и постоянно пытает ее в своих романах. Но странная вещь—неужели этот самый Раскольников не униженный и не оскорбленный? За что-же так преследовать, так ненавидеть его, так настойчиво лечить каторгой? Ведь он болен—Это во-первых, ведь он нищий—это во-вторых, ведь он одинок в этой жестокой, равнодушной окружающей его жизни... А между тем Достоевский без всякого колебания выносит ему обвинительный приговор! Десятки раз повторенная основная идея романа гласит: «человеческая личность свободна, а следовательно и ответственна. Грех предполагает наказание, и это наказание нужно, необходимо нужно для нравственного очищения..» но как приложить эту теорию к героям самого Достоевского? Все они почти без исключения психопаты, таким же психопатом является и Раскольников. Мы видим перед собой истеричных, эпилептиков и пр. и понимаем с точки зрения здравого смысла, что их прежде всего лечить надо, а Достоевский говорит: «в каторгу», куда он и отправляет для излечения Раскольникова. Художественным гением, бессознательным процессом проникновения великий романист сам оправ-

дал всех своих преступников, но как мыслитель, становясь на точку зрения абсолютного индивидуализма, признавая свободу воли, вынес всем своим сумасшедшим обвинительный приговор. И приходиться согласиться, что ни в чем такой глубины анализа, ни в чем такой дивной художественности, ни в чем такой жестокой несправедливости не проявил Достоевский, как именно в лучшем своем романе.

Не смотря на большие деньги, полученные за „Преступление и наказание", Достоевский все-же сидел без гроша. Целые тысячи пошли на уплату долгов и, только-что окончив одну большую работу он сейчас же поступает в кабалу к некоему издателю Стелловскому. Тот купил право издания его сочинений за 3000 р. и в добавление потребовал от него нового, нигде не напечатанного романа. Был назначен срок, определена неустойка. Достоевский, начав работать для Стелловского, ясно увидел, что если он будет писать, то не успеет закончить роман. Пришлось *диктовать*, и диктовал он своей будущей жене, Анне Григорьевне, которая записывала за ним стенографически. Анна Григорьевна приходила обыкновенно к Достоевскому около полудня и работала до 2-х или 3-х часов. Сначала Достоевский прочитывал то, что было продиктовано им накануне, а потом диктовал дальше. Такая каторжная работа продолжалась три недели. Но повесть все-же удалось окончить, и нет худа без добра: за это время Фед. Мих успел сблизиться с Анной Григорьевной и через несколько месяцев (15 фев. 1867 г.) женился на ней.

Следующие 4 года Достоевский провел за границей, преимущественно в Германии и Швейцарии. Дефицит был конечно хроническим [1]); в Женеве, напр., приходилось занимать по 5 или 10 франков у Огарева; часто дело доходило до того, что надо было закладывать платье, гнездиться в одной комнате и т. д. И это несмотря на самую усиленную работу—„по громадному роману в год": в 1868 был написан „Идиот", в 1869 повесть „Вечный муж", в 1870-м „Бесы". В письмах своих за это время Достоевский постоянно жалуется на нищету на то, что жене его приходится зимой закладывать последнюю шерстяную

[1]) Кроме уплаты долгов, Достоевскому приходилось еще много помогать семье покойного брата, содержать своего пасынка и т. д.

юбку, а самому ему—панталоны, чтобы получить два талера для телеграммы; жалуется на болезнь, на такое утомленное состояние духа, что „не пишется". С каким-то отчаянием восклицает он: „никак, ну, никак не могу писать более 3½ листов в месяц. Это ужасно!"

Любопытные подробности его творческой работе мы находим в этих-же письмах. Вот они: „Не ответил я вам до сих пор потому, что буквально сидел, не разгибая шеи, за романом в „Рус. Вест.". До того не удавалось, до того много раз пришлось переделывать, что я наконец дал себе слово не только не читать и не писать, но даже и не глядеть по сторонам, прежде чем кончу то, что задал себе. И это ведь еще только самое первое начало. Говорят, что тон и манера рассказа должны у художника зарождаться сами собой. Это правда, но иногда никакая вещь не стоила мне большего труда. В начале, т. е. еще в конце прошлого года, я смотрел на эту вещь („Бесы") как на вымученную, как на сочиненную, смотрел свысока. Потом посетило меня вдохновение настоящее и вдруг полюбил вещь, схватился за нее обеими руками: давай черкать написанное. Потом летом опять перемена: выступило еще новое лицо, с претензией на настоящего героя романа, так что прежний герой стал на второй план. Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку". Горе в том, что все это надо к сроку, наскоро. Начало уже послано в типографию „и вдруг—пишет Фед. Мих.—я испугался: боюсь, что не по силам взял тему. Но серьезно боюсь, мучительно". „Эх—восклицает он—если бы писать так, как пишет Тургенев". Рядом с этим недоверие к себе, даже к своей репутации: боязнь что редакция недовольна и пр. Повторяю—это невидная но ужасная трагедия в жизни Достоевского. Вся ненормальность, противуестественность работы на продажу, творческой к тому же работы—оставила такие тяжелые, нехорошие следы на дивных произведениях гения! Раб, поденщик, литературный пролетарий—и всю свою жизнь такой! Тут есть, от чего прийти в отчаяние.

Годы за границей тянулись скучно, однообразно. Мужу и жене обоим хотелось в Россию, но и выехать не на что, и кредиторы ждут там. Свет и радость внесло в жизнь только рождение детей, их лепет, их первые шаги, но за то как мучительно

было хоронить их: „Ох, Аполлон Николаевич,—пишет Достоевский в 1868 г. Майкову,—пусть, пусть смешна была моя любовь к моему первому дитяти, пусть я смешно выражался об ней во многих письмах многим поздравлявшим меня. Смешон для них был только один я, но вам, вам я не боюсь писать. Это маленькое 3 х месячное создание, такое бедное, такое крошечное—для меня было уже лицо, характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом начинал петь ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А эта где? Где эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму, чтобы только она была жива. Но, впрочем, оставим это: жена плачет. После завтра мы наконец расстанемся с нашей мотилкой и уедем куда-нибудь".

VI.

Слава.

3-го июня 1871 года, не видя никакого выхода из затруднительных денежных обстоятельств и в то же время чувствуя, что оставаться долее за границей невыносимо, Достоевский вернулся в Петербург. В 1873 г. Достоевский, по предложению князя Мещерского, сделался редактором „Гражданина", получая по 200 рублей в месяц, кроме платы за статьи. В 1875 г. им написан роман „Подросток", который и был напечатан в вечной памяти „Отечественных Записках" за 1875 год. Последний факт заслуживает некоторого внимания, показывая нам, до какой высоты дошла слава Достоевского: журналы совсем другого направления соглашаются печатать и даже с радостью, его произведения. В 1876 году Достоевский приступил к изданию „Дневника писателя".

Денежные обстоятельства его—факт в биографии Достоевского очень существенный—значительно поправились за это время Анна Григорьевна, его жена взяла на себя хлопоты по изданиям прежних произведений и таким путем доставила мужу доход от 2 до 3-х тысяч руб. в год. Много помогал и гонорар за „Подростка" напр. Достоевский получал по 250 руб. с листа. за „Братьев Карамазовых" по 300 р., „Дневник писателя" также доставлял недурной доход: в 1876 г. у него было 1980 подписчиков и, кроме того в розничной продаже каждый номер расходился в 2 или 2,5000 экземплярах. Некоторые номера потребовали 2-го или даже третьего издания. В 1877 г. у „Дневника" было уже 3000 подписчиков, да столько-же №№ расходилось в розничной продаже. Один №, выпущенный в 1880 г. в августе месяце, содержавший в себе знаменитую речь

о Пушкине, напечатан был в 4,000 экз. и разошелся в несколько дней. Было сделано новое издание в 2,000 экз. и разошлось без остатка. Единственный № „Дневника", на 1881 г. печатался уже в 8,000 экземплярах. Все эти 8.000 были распроданы в дни выноса и погребения. Сделано было второе издание в 6,000 экз. и разошлось на расхват.

Таким образом мы, очевидно, вступили в период созревшей уже и все возраставшей славы. Но эта слава достигла апогея во время печатания в „Рус. Вест." и выхода в свет знаменитого последнего романа „Братьев Карамазовых" — удивительной эпопеи человеческой мерзости, беспорядочности и психопатии. По нашему мнению, это высшее, что было написано Достоевским, хотя критика, обыкновенно, отдает преимущество „Преступлению и Наказанию" или „Запискам из Мертвого Дома". Но, как кажется, никогда Достоевский не пытался сделать такого широкого захвата жизни, как именно в „Братьях Карамазовых". Все его особенности, вся его индивидуальность как нельзя более полно вылились в этом романе. Это, так сказать, — его завещание, которое мы можем принять или отвергнуть, но не оценить которого по достоинству было бы грустно. Сам Достоевский, кстати сказать, придавал „Братьям Карамазовым" наибольшее значение. Он мучился этим романом целых десять лет. Первые намеки на него мы встречаем в письмах к Майкову 1869 и 70 гг. Вот что пишет Достоевский: „Это будет мой последний роман. Об'емом в „Войну и Мир" и идею вы же похвалили, — сколько я по крайней мере соображаюсь с нашими прежними разговорами с вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей. Повести совершенно отделены одна от другой, так что их можно будет пускать в продажу отдельно. Первую повесть я назначаю Кашпиреву: тут действие ище в 40-х годах. Общее название романа есть *„Житье великого грешника"*, но каждая повесть будет носить название отдельно. Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — *существование Божье*. Герой в продолжение жизни то атеист, то верующий, то фанатик, то опять атеист. 2-я повесть будет происходить вся в монастыре. На эту 2-ю повесть я возложил все мои надежды. Может быть скажут наконец, что не все написал пустяки. Хочу выставить Тихона Задонского, под другим

именем, конечно. 13-ти летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развратный, будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг высший, образованный) для исправления и обучения... Главное—Тихон и мальчик".

В этом абрисе трудно не узнать будущих Карамазовых. Тихон преобразился в Зосиму; 13-ти летний мальчик-в Алешу. В том же факте, что мальчику 13 лет, видно, так сказать, предчувствие карамазовщины, т. е. мерзкой наследственности, которая передавая ребенку похоти, портит его уже с пеленок. Муки о существовании Божием воплощены в Иване Карамазове, и, действительно, никогда никакой атеист не опускался до такой глубины скептицизма и анализа, которая вложена в легенду о великом инквизиторе.

Сам Достоевский, повторяю, этим романом дорожил больше всего; самая мысль романа была *самой* душевной его мыслью. Прав он или не прав, но тут он весь, целиком. Одна психопаталогическая сторона чего стоит: тут и галлюцинаты (Иван, Ферапонт), и мистики, и истеричные, и маньяки, мучители, эпилептики, нравственные автоматы, люди с извращенными прихотями и вся страшная картина романа—(всеобщее какое-то беснование) развертывается на почве мерзкой наследственности—карамазовщины. В ней-то Достоевский воплотил любимые свои мысли, что „человек деспот от природы и стремится быть мучителем", что „тирания есть привычка, обращающаяся в потребность" и т. д.

Но, оставив в стороне подробности, постараемся покороче ответить на вопрос: что такое карамазовщина? Рассматривать ее можно различно—и с точки зрения науки, и с точки зрения самого Достоевского. В первом случае—это наследственный психоз, которым страдает целая семья, во втором это в отце и детях, т. е. в двух поколениях воплощенная греховность человека. Развратом в романе занимаются почти все: даже пятнадцатилетняя, истеричная Лиза и та „предлагает себя" Ивану Карамазову. Но важнее этой физической греховности является другая—греховность души. Тут же Достоевский не поскупился на краски и, согласно с своей историей, обобщил всю эту самую последнего вида греховность в одном и том же проявлении—именно в *отрицании*. Отрицается все: семья, об-

щество, нравственность, сама вера, сам Бог! Старик Карамазов не просто развратник и сластолюбец, он — тенет; Иван мучительно ищет веры, мучительно сомневается; Алеша только *думает*, что нашел ее в монастыре; даже глупая г-жа Хохлакова и та „испытывает" силу божества, глупо, по-детски, по-бабьи но все-же испытывает У Карамазовых и примыкающих к ним нет Бога в душе, оттого они не только развратники, но и преступники, действительные или „in spe"—безразлично. В неверии этом все зло их жизни, вся путанина их мыслей, причина их рабства телу и изломанности, искаверканности их несчастного духа. Отец Карамазов так на цинизме и застыл; на сластолюбивого старца восстала его же кровь в лице Смердякова, и развратный богохульник гибнет, унося с собой в могилу неудовлетворенную похоть. Другие Карамазовы (кроме Дмитрия) ищут веры, как бы понимая инстинктивно, что только она и может спасти их. Но найдут-ли они или нет—мы не знаем: роман остался неоконченным. Два тома—это лишь вступление к грандиозной эпопеи ищущего веры атеизма—но развязку все-же мы можем предчувствовать. В лице старца Зосимы Достоевский утверждает, что есть выход из сомнений души, путаницы мыслей из бесплодной неверующей жизни вообще. Зосима в миру тоже был великим грешником: распутничал, транжирил чужим трудом приобретенные деньги, поднимал руку на ближнего своего. Но в раскаянии, в угрызениях совести он обрел новую внутреннюю силу и эта сила, победив похоть, возродила его. Это сила любви, смирения,—смирения прежде всего. Зосима ушел в монастырь, но не отрешился от мира, не ударился на путь сурового аскетизма, но стал благодетельствовать другим, забывши себя. Вера, чистая христианская вера поселилась в душе его, „мир" приходит к нему в лице своих страждующих и обремененных, и Зосима благодетельствует им в духе любви и правды Отсюда тот ровный и мягкий свет, который разливает фигуру Зосимы по страницам романа, где с такой поражающей яркостью выставлены все тревоги все муки человеческой души и жизни.

Исход Карамазовщины, повторяю, — это путь личного усовершенствования, через смирение, через отречение от своего „я", но не от людей.

„Братья Карамазовы“ отвлекли Достоевского на целых три года от публицистической деятельности. Но он всегда мечтал вернуться к ней; его впечатлительную натуру воспламенявшуюся от самого незначительного факта, всегда тянуло к злобе дня. В 1881 г. он опять начал издавать „Дневник“, но умер, не успев продержать последней корректуры. Как бы то ни было—забыть о его публицистической деятельности никак нельзя: при помощи ее Достоевский имел громадное влияние на общественную мысль.

В „Дневнике“ много противоречий, путаницы, странных мыслей: но в общем он имеет вполне определенное направление и ясно выраженную основную мысль. Это—прежняя проповедь почвенников, в более резком виде. С величайшею нетерпимостью Достоевский относится к „холопству“ и „лакейству“ перед Европой и изыскивает почву для русской самобытности. Эта почва—народный дух, православно-христианские идеалы, воспринятые народом. Такая почва—существует, поэтому Россия выше Европы, поэтому ей должна принадлежать гегемония европейской цивилизации. Тут уже, особенно в рассуждениях о внешней политике, Достоевский часто впадает в шовинизм. Что же нового дает Россия? Демократизм и нравственные начала жизни. „Мы все демократы сверху донизу“—любил говорит Достоевский. Нравственные-же начала—тоже наша исключительная собственность: в Европе господствует идея *класса* и *исторического* права. Оттого-то она мертва,—неподвижна. Россия сразу величайшие противоречия жизни разрешает нравственным под'емом, любовью. Доказательство—освобождение крестьян с *землею*: это не только политическая мудрость, не только профилактика против пролетариата, это нечто большее—высоко нравственное, любовное отношение к народу.

Совершенно понятно, что к подобным мыслям, особенно когда они выражены в слишком уже резкой и самоуверенной форме и пересыпаны утверждениям вроде того, напр., что Константинополь должен быть наш немедленно, сейчас-же,—можно относиться различно. Но так как здесь совсем не место полемизировать с Достоевским, то оставим в стороне все его парадоксы и шовинистские вскрикивания. Не менее интересен вопрос, чего ради художник Достоевский взялся за публицистику? Что у него было много хороших мыслей—это несомненно; одинаково

несомненно, что никакой системы эти мысли из себя не представляли и никакой программой об'единены не были. Оттого-то их характер такой случайный, отрывочный. Сам Достоевский признается в этом: „когда, пишет он, я сяжусь писать (для „Дневника"), у меня 10-15 тем, не меньше, но темы, которые я любил больше, я поневоле откладываю: места займут много, жару возьмут много, и вот пишешь не то, что хотел... Верите ли вы, напр. тому, что я еще не успел уяснить себе форму „Дневника", да и не знаю, налажу ли это когда нибудь, так что Дневник" хоть и два года будет продолжаться, а все будет вещь неудавшеюся! Но жаль, если пропадет много хоть мимолетных, но ценных впечатлений". Достоевскому хочется проникнуть в самую глубину современности изучить ее во всех подробностях и конечно изобразить в большом романе. Его особенно интересует молодое поколение, семья и „многое другое". Отто о-то он и ведет дневник, чтобы знать жизнь во всех ее подробностях. Это—материал для будущего. Факты, впечатления мысли—все должно заноситься туда, чтобы не забылись. То приходит к нему курсистка, и он выносит светлое радостное впечатление о русской молодежи, то удается ему посетить Воспитательный дом или колонию для малолетних преступников, то выслушать интересное дело... Набросанные на-черно впечатления являются в „Дневнике". Велика-же должна быть слава Достоевского, чтобы такая необделанная, случайная вещь пользовалась успехом и мало того,—оказывала большое влияние на многочисленный круг читателей.

„Дневник Писателя", повторяем, пользовался громадной популярностью. С выпуском каждого нового нумера, раскупавшагося на расхват, росла и слава писателя. Несомненно, что одно время Достоевский был для большинства самым видным явлением русской жизни, ее пророком и апостолом. После появления „Братьев Карамазовых", в особенности же после Пушкинской речи—его слава достигла апогея. И Достоевский это чувствовал, сознавая это. Только теперь, после тридцатилетней литературной деятельности, исчезло наконец мучительное неверие в себя, свои силы: „Одно мое имя стоит миллиона", не без тщеславия говорил он и в сущности был совершенно прав. Он видел какие восторги возбуждает он во всех своих читателях, какое доверие питают к нему его многочисленные поклонники, и наконец-то нашла земное успокоение его многострадальная, так

безжалостно истерзанная жизнью душа. Ведь что это за ужасная участь выпала на долю Достоевского, и стоит, хотя на минуту, припомнить главные ее события, чтобы почувствовать, как мурашки начинают ползать по спине. Тяжелая юность с постоянными, настойчивыми мыслями о самоубийстве, с мучительно подозрительным отношением к себе и людям, юность без любви, без меры, полная отчаяния и меланхолических припадков, с призраком, только *соблазнившим* призраком славы и суровыми тисками материальной кабалы и зависимости. Горячее воображение рисует картины нищеты и заброшенности, болезненная мнительность отравляет всякое наслаждение и даже не дает подойти к нему; слабая воля не умеет справиться с прихотями, и человек становится их рабом, понимая весь ужас этого рабства. Такова—юность, потом—каторга, тяжелые годы выжиданий, постоянной борьбы с неудовлетворенной, придавленной жаждой жизни. Потом славная минута освобождения, но, к сожалению, только минута. Материальные затруднения портят все, отравляют самые восторги творчества. Гению приходится работать из за денег, вымучивать и, выпытывать из себя длиннейшие романы, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами. Наконец—слава Богу!—все это кончено: трудом, испытаниями, страданием заработаны слава, достаток, спокойствие духа и тем отраднее можно ими пользоваться. Достоевского не только признали, не только поставили рядом с Тургеневым и Толстым, но и поверили в него. Высшее для писателя наслаждение—возможность руководить чужою мыслью, а следовательно и чужою жизнью стало ему доступным. Он становится спокойным, самоуверенным. Самый тон его писем меняется: он ровнее, как бы от сознания силы, и утеряв свою нервность и раздражительность; постоянно отражается на нем какое-то умиленное настроение духа. Повторяю—не даром досталась Достоевскому слава, и в каждом знакомом с обстоятельствами его многострадальной жизни она не может не возбудить чувства нравственной удовлетворенности.

Но пока вернемся на минуту к „Дневнику".

Особенно интересовался в нем Достоевский судебными процессами, положением русской женщины и войной за освобождение славян.

Достоевский был горячим и неизменным приверженцем

женского движения. В майском выпуске „Дневника“ за 1876 г. он восторженно заявляет, что в русской женщине заключена „одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления“. „Возрождение русской женщины,— говорит он, — в последние 20 лет оказалось несомненным. Под'ем в запросах ее был высокий, откровенный, безбоязненный. Он с первого раза внушил уважение, по крайней мере заставил задуматься... Русская женщина *целомудренно* пренебрегла препятствиями и насмешками. Она твердо заявила о своем желании участвовать в общем деле и приступила к нему не только бескорыстно, но и самоотверженно. Русский человек в эти последние десятилетия страшно поддался разврату стяжания, цинизма, материализма; женщина же осталась гораздо более верна чистому поклонению идее, служению идее В жажде высшего образования она проявила серьезность, терпение и представила пример величайшего мужества“.

Совершенно естественно поэтому, если женщины оказывали Достоевскому особенное внимание. То они приходили к нему на квартиру поговорить, познакомиться, посоветоваться, то писали ему бесчисленные письма, в которых излагали самое интимное своей жизни, требуя руководительства. Хотя и мало было у Достоевского свободного времени, так как он был завален работой и по изданию „Дневника“ и по отделке „Братьев Карамазовых“, однако он и для разговоров находил минуты и старался обстоятельно отвечать на все письма и запросы. Он принимал даже на себя различные хлопоты и поручения. Когда, напр. одна корреспондентка сообщила ему, что она непременно хочет учиться, а чтобы учиться, ей приходится бежать от отца и жениха, которого она не любит Достоевский выхлопотал ей покровительство одной очень влиятельной дамы. Вместе с этим он советовал быть осторожнее: „быть женою купца вам с вашим настроением, конечно, невозможно. Но быть доброй женой и матерью—это вершина назначения женщины... Вы поймете сами, что я ничего не могу сказать вам о том молодом человеке, о котором вы пишите Впрочем, вы пишите, что его не любите, а это *все* Ни из-за какой цели нельзя уродовать свою жизнь Если не любите, то и не выходите. Если хотите — пишите еще“ Все ответы Достоевского удивительно мягки, сердечны, откровенны. Он очень жалеет напр. о неудаче экзамена из географии другой своей корреспондентки, поддерживает ее душевную бодрость... „Не-

позволительно и непростительно—пишет он—так быть нетерпеливой, так торопиться и в ваши крошечные лета восклицать: „из меня ничего не выйдет!“ Вы еще подросток, вы не доросли еще до права так восклицать. Напротив, при вашей настойчивости непременно что нибудь да выйдет. В вас кажется есть и чувство, и теплота сердца, хотя вы капризны и избалованы. (Вы не сердитесь на меня за это?) Не сердитесь, дайте мне вашу руку и успокойтесь. Боже мой! С кем не бывает неудач?“ Еще в одном письме Достоевский благословляет какую то барышню на трудный подвиг идти сестрой милосердия в Сербию... Повсюду в этих письмах удивительная сердечность и вместе с тем много бодрости душевной..

Судебными процессами Достоевский одинаково интересовался, прежде всего как общественный деятель. Благодаря его влиянию и участию, была, напр., оправдана подсудимая Корнилова, так как Достоевский своими статьями *доказал*, что она невинна. Не все, значит, страдание нужно!

Пушкинский праздник 1880 г. был его настоящим апофеозом, восторженным признанием его величия. Вот как рассказывает об этом Н. Страхов: „Как только начал говорить Федор Михайлович, зала встрепенулась и затихла. Хотя он читал по писанному, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренно выходящая из души. Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине. То одушевление и естественность, которыми отличается слог Федора Михайловича, вполне передавались и его мастерским чтением. Не говорю ничего о содержании речи, но, разумеется оно давало главную силу этому чтению. До сих пор слышу, как над огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный чувства голос: „Смирись, гордый человек, потрудись праздный человек!“. Восторг, который разразился в зале по окончании речи, был неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не был его свидетелем. Толпа, давно заряднвшаяся энтузиазмом и изливавшая его на все, что казалось для того удобным, на каждую громкую фразу, на каждый звонко произнесенный стих, эта толпа вдруг увидела человека, который сам весь полон энтузиазма, вдруг услышала слово, уже несомненно достойное восторга и она захлебнулась от волнения, она ринулась всею душою в восхищение и трепет. Мы тут же все принялись целовать Фе-

дора Михайловича; несколько человек, вопреки правилам, стали пробираться из залы на эстраду; какой-то юноша, как говорят, когда добрался до Федора Михайловича, упал в обморок. Восторг толпы заразителен. И на эстраде, и в „комнате для артистов", куда мы ушли с эстрады в перерыв заседания, все были в радостном волнении и предавались похвалам и восклицаниям. „Вы сказали речь,—обратился Аксаков к Достоевскому,—после которой И. С. Тургенев, представитель западников, и я, которого считают представителем славянофилов, одинаково должны выразить вам величайшее сочувствие и благодарность". Не помню других подобных заявлений; но живо осталось в моей памяти, как П. В. Анненков, подошедши ко мне, с одушевлением сказал: „вот что значит гениальная, художественная характеристика! Она разом порешила дело!"

В заключение биографии скажем о последних днях жизни Достоевского и его похоронах. Этот рассказ составлен по воспоминаниям очевидцев:

„Дней за десять до той кратковременной болезни, которая свела Федора Михайловича в могилу, зашел к нему О. Ф. Миллер напомнить ему о данном им обещании участвовать в пушкинском вечере 29 января (в день смерти поэта). Незванный гость, как это часто случалось с Ор. Фед., оказался для него хуже татарина, О. Ф. Миллер не сообразил, что Федор Михайлович как раз дописывал тогда январский номер возобновляемого им „Дневника Писателя". Он выбежал к посетителю в прихожую с пером в руке, страшно взволнованный—отчасти, как сам тут и высказал, опасением, пропустит-ли ему цензура несколько таких строк, содержание которых должно развиваться в дальнейших номерах „Дневника" в течение всего года. „Не пропустят этого,—говорил он,—и все пропало". (Известно, что не имея средств для внесения залога, он должен был издавать свой „Дневник" под предварительною цензурою). Строки, так его беспокоившие, надо думать, те, которыми открывается 5-й отдел 1-й главы „Дневника" (под заглавием: „Пусть первые (т.-е. народ) скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно чтобы уму-разуму поучиться"): На это есть одно магическое словцо, именно „Оказать доверие". Да, *нашему мужику* можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том,

чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все в первый раз может быть, услышим настоящую правду"... На другой же день Орест Фед. Миллер узнал о внезапной болезни (разрыв легочной артерии) Достоевского и поспешил к Анне Григорьевне в сильнейшем беспокойстве о том, не вчерашние-ли разговоры повредили Федору Михайловичу. К успокоению своему, О. Ф узнал, что вслед за тем Федор Михайлович был действительно сильно взволнован другим совсем посещением. Сильный припадок обыкновенной его болезни сразу сокрушил давно надломленный организм. Последние 8 лет своей жизни Федор Михайлович страдал эмфиземой, вследствие катарра дыхательных путей. Смертельный исход болезни произошел от разрыва легочной артерии и был случайностью, которой никто из докторов не предвидел. Предсмертная болезнь началась с 25 на 26 января небольшим кровотечением из носа, на которое Федор Михайлович не обратил ни малейшего внимания, 26 января он был, повидимому, совершенно здоров, не хотел посоветоваться с докторами насчет кровотечения. В 4 часа по полудни сделалось первое кровотечение горлом. Тотчас привезли всегдашнего доктора Федора Михайловича, Фон-Бретцеля. Уже при нем, часа через полтора после первого кровотечения, произошло второе более сильное, причем больной потерял сознание. Когда он пришел в себя, то пожелал исповедаться и причаститься. До прихода священника он простился с женой и детьми и благословил их. После причащения почувствовал себя гораздо лучше. Весь день 27 января кровотечение не повторялось и Федор Михайлович чувствовал себя сравнительно хорошо Очень заботился он о том, чтобы „Дневник Писателя" вышел непременно 31 января. Просил Анну Григорьевну прочесть принесенные корректуры и поправить их. Потом просил читать ему газеты. 28 января до 12 часов все шло благополучно, но затем полила опять кровь, и Федор Михайлович очень ослабел. В это время к нему заехал А. Н. Майков и провел у него все предобеденное время, наблюдая и ухаживая за ним вместе с домашними. Во всю свою жизнь в решительные минуты Федор Михайлович имел обыкновение, по словам Анны Григорьевны, раскрывать на удачу то самое Евангелие, которое было с ним в каторге, и читать верхние строки открывшейся страницы. Так поступил он и тут, и дал прочесть жене. Это было Матф. гл. III ст. 11:

„Исаия же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от Тебя и Ты-ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит Нам исполнить великую правду". Когда Анна Григорьевна прочла это, Федор Михайлович сказал:—„ты слышишь: „не удерживай",—значит я умру" —и закрыл книгу. Предчувствие скоро оправдалось. За два часа до кончины Федор Михайлович просил, чтобы Евангелие было передано его сыну, Феде. После обеда А. Н. Майков вернулся к больному уже не один, а с женою, и при них в 6½ часов вечера случилось последнее кровотечение, за которым следовало беспамятство и агония. Анна Ивановна Майкова сейчас же пустилась отыскивать еще доктора и привезла с собой Н. П. Черепнина, которого нашла у одного из его знакомых. Но когда они приехали, уже наступал конец, и Н. П. Черепнину довелось только услышать последние биения сердца Федора Михайловича. Несколько ранее приехал Б. М. Маркевич, описавший потом последнюю минуту смерти (См. „Русский Вестник" 1881 г., февраль). Федор Михайлович скончался 28 января 1881 г., в 8 часов 38 минут вечера.

Похороны Достоевского представляли явление, которое всех поразило. Такого огромного стечения народа, таких многочисленных и усердных заявлений уважения и сожаления не могли ожидать самые горячие поклонники покойного писателя. Можно смело сказать, что до того времени еще не бывало на Руси таких похорон. Всего яснее покажут дело цифры: в погребальной процессии, при выносе тела из квартиры (Кузнечный переулок, № 5) в Церковь Св. Духа, в Невской Лавре, было несено 67 венков и пели 15 хоров певчих. 67 венков—это значит 67 депутаций, 67 различных обществ и учреждений, пожелавших оказать почести умершему. 15 хоров певчих—значит 15 различных кружков и ведомств, имевших возможность для этого снарядить певчих. Каким образом составилась такая громадная манифестация—это составляет немалую загадку.

Очевидно она составилась вдруг, без всякой предварительной агитации, без всяких подготовлений, уговоров и распоряжений, потому что никто не ожидал смерти Достоевского, и время между неожиданным известием о ней и похоронами (три дня) было слишком коротко для каких-нибудь обширных приготовлений. Следовательно, почти каждая из 67 депутаций имеет свою „особенную историю", *свое* признание величия умершего писателя,

VII.

ИТОГИ.

Что дал нам Достоевский?—Кающийся интеллигент.—Разлад с народом—Необъятная сила.

Что-же дал нам Фед. Мих. Достоевский, как литератор, как общественный деятель? Постараемся ответить на этот вопрос sine ira et studio. Но сначала заметим, что этот вопрос вводит нас в самую трудную область идей, а Достоевский все-же прежде всего был художником. Но его постоянно тянуло к публицистике, к злобе дня. Даже многие его романы напр. „Бесы", имеют очень заметную публицистическую тенденцию. Да и в остальных произведениях он формой рассказа часто прикрывает проповедь. Поэтому насчет идей Достоевского можно бы толковать с полной основательностью, не будь у него даже „Дневника Писателя". Он всегда откликался на самое насущное, что выдвигала жизнь. Иногда с большой легкостью провозглашал он, что Константинополь должен быть наш и что совсем уже пришла пора захватить его в свои руки; иногда утверждал, что завершение европейской культуры наше русское дело. Конечно, такое мнение очень приятно. Но на нем, как и на всех взглядах Достоевского о взаимных отношениях России и Европы, теперь останавливаться не будем: об этом нами достаточно сказано в двух последних главах.

Обратимся к другой стороне взглядов его, когда он говорит о народе и интеллигенции, думает о них, страдает за них. Уже одно его отношение к народу дало бы ему полное право на бессмертие, а он к тому же был и великим художником, великим психопатологом. Сочувствие к Народу, стояние за него, а не подвижничество появилось у Достоевского еще в юные годы. Осо-

бенно резкую форму это „стояние“ приняло во время участия в дуровском кружке. Тут Достоевский часто говорил об ужасах крепостного права, часто называл его самым мерзким и отвратительным явлением русской жизни. Образ крепостного мужика являлся в его глазах одним из воплощений безысходного горя, того громадного и мутного потока униженности и оскорбления, который так жестоко, так бурно разливается по всей жизни. Достоевский был впечатлителен, всякое чужое страдание болезненно даже раздражало и мучило его. Он не мог выносить никакого насилия, хотя и утверждал, что в каждом человеке есть наклонность к мучительству. Но он сам никого не мучил, в самом то в нем никакой жестокости не было. Наоборот даже. „Все мы вышли из гоголевской Шинели“— говорил он, и с этого ясно выраженного сочувствия к униженному и оскорбленному и началась его литературная деятельность. Никогда даже в голову ему не приходила мысль, что страдание Сони Мармеладовой, напр., необходимо, закономерно. Торговлю человеком он заклеймил с большей силой, чем кто-нибудь до него. Действительно, он проповедывал смирение, он признавал, что страдание полезно...но только для кого?— для гордого *интеллигента*, прежде всего полагающего что он имеет право распоряжаться по своему образцу с жизнью и перестраивать ее... Этому Достоевский говорил: „смирись гордый человек.“

В общем-же великом движении всей лучшей части литературы и русской интеллигенции—в стремлении сблизиться с народом, в проповеди той, теперь уже ясной мысли, что, забывши о народе, *вне* народа, так сказать, нельзя сделать ничего, Достоевский все равно как своей публицистикой, так и некоторыми своими произведениями сыграл большую и, по нашему мнению, несомненно плодотворную роль. Правда, мы не разделяем некоторых мистических идей Достоевского и не настолько увлекаемся им, чтобы не видеть, как его нервный, истерический темперамент постоянно вводил его в противоречие с самим собой и заставлял высказывать совсем не остроумные парадоксы вроде того напр., что народ ищет страдания, но нам думается, что миросозерцание Достоевского без его мистических и шовинистских угловатостей очень просто, ясно и не может остаться непонятым ни одним из русских интеллигентов. Краеугольный камень этого миросозерцания *народ*, грязный, приниженный, скверный, но сохраняющий в

глубине души своей внутреннюю, высокую правду. Вне народа забывши о народе,—нет правдивой жизни, нет настоящей деятельности. Уклоняясь во многом, Достоевский в этом пункте по крайней мере сходился со всеми лучшими умами русской интеллигенции. Его отношение к народу бережно-любовное. Напомним хотя бы приведенный выше рассказ о мужике Марее. Благодаря такому-то краеугольному камню любви к народу, русская литература и русская интеллигенция имеют перед собой несомненно великую будущность, в которой не забудется конечно и имя Достоевского. Он тоже интеллигент и даже один из вождей интеллигенции... А что такое русская интеллигенция? Позволю себе привести один отрывок, несколько резкий по форме, несколько крайний по мысли, но не дурно передающий самую суть дела. Вот он в виде речи, обращенной одним действующим лицом рассказа к другому: „Скажу я тебе, что всероссийская интеллигенция самая лучшая и привлекательная из всех существующих. Обойди ты весь свет и ничего подобного ей не найдешь. Это своего рода роскошь и великолепие, недостаточно еще оцененное но поразительно прекрасное. И суть ее жизни именно в этой самой *совестливости*. Ступай куда угодно в Америку, во Францию, в Англию или хоть в Патагонию, и начни ты проповедывать, что личное счастье—не законно, что любовь эгоизм и проч.—преступны. Да от тебя все отвернутся. Как это так, что личное счастье не законно? Да-что же законно после этого? А русский интеллигент поймет это и прочувствует. той самой минуты, как он проснулся, он почувствовал упреки и угрызения совести и стал он философствовать. Берет он, например, в руки булку и сейчас-же перед его совестливым воображением какая нибудь плантаторская картина „Хлеб возделанный рабами!“ говорит он, и эта самая булка кажется ему горькою. Он любит, а перед его глазами униженный „меньший брат“, продающий за пятак все свое *человеческое* достоинство, и любовь теряет в его глазах всю свою привлекательность. Он помешался на народе, он ищет пути, чтобы приблизиться к нему и слиться с этой молчаливой массой, тысячелетие выносившей на плечах всю русскую историю. Без этого народа, без любви к нему, любви детской, наивной, мистической—немыслим российский интеллигент. Посмотри-ка, что он теперь делает: сколько тоски, сколько сове-

стливости в его постоянных исканиях правды и именно мужицкой, народной правды. Он отрекается от всего, что составляет гордость и счастье обыкновенного смертного. Оттуда-то, из этих деревень, из этих болот и полей черноземных русская интеллигенция всегда получала и получает свое душевное содержание. Ей совестно, именно совестно жить, забыв мужичка, и от него же заимствовала она свою знаменитую формулу: „жизнь по *правде*“—а не по *праву* или доктрине. Если на западе господствует наука, сознание необходимости—юридической или исторической, все равно—то у нас —*любовь*. Мы веруем в нее, как в какую-то таинственную силу, которая сразу разрушит все преграды и установит новую жизнь прямо в одно мгновение, без всяких этих „развитий экономических противоречий.“ В голове и сердце каждого русского интеллигента вечно сидит этот образ новой, *любовной* жизни, и если мы когда-нибудь чем-нибудь искренно вдохновлялись, то именно этой правдивой жизнью, основанной на любви к ближнему, не признающей никаких формул, кроме тех, которые диктуются сердцем...“ Такова одна из форм русского народничества, к которой довольно резко примыкал Достоевский.

Народ и оторванный от народа интеллигент—это противоречие больше всего занимало и мучило Достоевского. Оторванному от народа интеллигенту он был положительно безжалостен. Не стесняясь, выставлял он его в самом ужасном виде, напр. в „Бесах“, требовал от него не только покаяния, но и страданья. Сердце Раскольникова открылось только на каторге. Каторга была нужна ему, необходима даже. В чем же вина его? Прежде всего в гордости—и после всего в гордости. Эта гордость личной мысли, это самомнение личного чувства, это властность личной воли. За это нужно наказывать, нужно страдать. Такой человек прежде всего смириться должен, чтобы понять, что не один он в жизни, что до личного его счастья никому и дела-то в сущности нет, что никакого права требовать его он не имеет. Он виноват, думал Ф. М., понимая свободу только (!) как разнузданность желаний, как право и возможность делать все, что захочется, что идея равенства отражается в нем, прежде всего, как зависть к другим, более имущим.

Свобода и равенство и для Достоевского великие вещи, но

понимает он их иначе. „Настоящая свобода—говорит он,—это одоление своей воли так, чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтобы всегда, во всякий момент, быть самому себе настоящим хозяином". Равенство же не зависть, не желание взять у другого то, чего у тебя нет, а сознание своего человеческого достоинства, которое у всех тоже самое. Поэтому-то герои „Бесов", Раскольников, карамазовщина и вызывали со стороны Достоевского такой жестокий суд, такой строгий приговор. Он безжалостно казнит все те явления русской жизни, которые пристрастно обобщил под общим наименованием „анархический индивидуализм". Такой индивидуализм ничего не видит в жизни кроме себя, своей воли и полагает, что все должно служить ей, все—средства для ее удовлетворения, т. е. для счастья. Это счастье Достоевский отрицал совершенно. Жизнь всегда представлялась ему ужасно трудным, ужасно серьезным делом, своего рода подвигом, который каждому надлежит осуществить по мере сил и способностей. Осуществить же его можно только при самоотречении, известном даже аскетизме. Себя забыть надо, а полюбить дело: себя победить надо прежде, чем взяться за него. Отрицая права на личное счастье, Достоевский тем энергичнее проповедывал личное самосовершенствование, борьбу с той самой карамазовщиной и анархизмом, которые сидят в каждом из нас. Все личное, индивидуальное, самовольное—греховно, и тип кающегося грешника любимый тип Достоевского. Он даже роман хотел писать под заглавием: „Великий грешник". Не то, чтобы он требовал отречения от себя, своих сил и способностей: он ненавидел, преследовал только личную волю, стремление к личному счастью. Его любимец это старец Зосима в „Братьях Карамазовых". Грешил человек, много грешил, кутил, распутничал, на другого поднимал руку. И пострадал он именно за *в частность* своей натуры, за то, что смел самого себя противоставить обществу, принять себя, свое достоинство за нечто высшее, чем достоинство другого человека; он спасся смирением, он стал человеком, лишь отрешившись от своего „я", выбросив из головы даже мысль, что это „я" есть нечто особенное, исключительное,—такое, что имеет право на „все". После победы над собой, можно и должно начинать деятельность. Где-же, в чем найти ее?—В служении народу.

Эту мысль Достоевский десятки раз повторяет в своем „Дневнике", призывая каждого принести „хоть лепту". Не о великом деле надо заботиться, а чтобы оно было любовно, чтобы исходило оно от сердца и шло в народ. „Не раздача имений обязательна—говорит он напр.—и не надевайте зипуна: все это лишь буква и формальность: обязательна и важна лишь решимость ваша делать все ради деятельной любви, все, что возможно вам, что сами искренне признаете для себя возможным. Все же старания опроститься—лишь одно только переряживание, невежливое даже (по отношению к народу) и вас самих унижающее. Вы слишком сложны, чтобы опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесити до вашей осложненности. Будьте только искренни и простодушны. Это лучше всякого опрощенья. Одна награда вам—любовь, если ее заслужите. Ведь глуп мужик, дик мужик, необразован он; как же говорить: что дела нет?.."

Достоевский выдвигал всегда Россию на первое место. Он предсказывал ей великую и высокую будущность. В чем же видел он залог этой великой и высокой будущности? В нашем *демократизме*, в повсюду, по всем классам общества распространенном сознании, что народу *служить* надо. Вот его слова: „правда, много в теперешних демократических заявлениях лжи и фальши, много и журнального плутовства, много увлечения... Тем не менее честность, безкорыстие, прямота и откровенность демократизма в большинстве русского общества не подверженны уже никакому сомнению. В этом отношении мы, может быть, представили или начнем представлять собою явление, еще не об'являвшееся в Европе, где демократизм до сих пор и повсеместно заявил себя еще только, воюет, а побежденный (будто-бы) верх еще и теперь дает страшный отпор. Наш верх побежден не был, но верх сам стал демократичен или, вернее, народен; и кто-же мог отрицать это? А если так, то согласитесь сами, что нас ожидает счастливая будущность. И если в настоящем еще многое неприглядно, то по крайней мере позволительно питать большую надежду, что временные невзгоды демоса непременно улучшатся под неустанным и беспрерывным влиянием вирель таких огромных начал (ибо иначе назвать нельзя), как всеобщее демократическое настроение и всеобщее согласие на то всех рус-

сших людей, начиная с самого верха". Тут конечно много идеализации, но идеализации хорошей.

Как же смотрел Достоевский на народ, раз служение ему является первым самым большим и важным делом в жизни интеллигента. „Обстоятельствами всей почти русской истории — говорит он — народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем, мучим, что еще удивительно, как он сумел, сохранив человеческий образ, не то что сохранив красоту его. Но он сохранил красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую какостную грязь, в какую погружен народ наш, и сумеет в этой грязи найти бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он часто делает, а по тем великим и светлым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. Идеалы его чисты, сильны и святы". Это — христианские идеалы. Они проявляются в отречении от самого себя, в стремлении послужить другому, в любви и сострадании к несчастному. Или вот какие, между прочим, наблюдения над народом сделал Достоевский на каторге: в каждом мужике, даже арестанте, он увидел не только чувство правды, *душу*, но и сознание собственного достоинства, требование *справедливости*.

„Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа,—это чувство справедливости и жажда ее". — Или: „Арестант сам знает, что он арестант—отверженец, и знает свое место перед начальником; но никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что он—человек. А так как он действительно человек, то, следовательно, и надо обращаться с ним по человечески. Боже мой! да человеческое обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уже погускнел образ Божий. С этими-то несчастными и надо обращаться наиболее по человечески". Какой вместе с тем глубокой гуманностью проникнуто его отношение к арестантам. Везде он не только жалеет их, он в них видит людей, он за ними признает человеческое достоинство: „И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром. Ведь надо уже все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и

есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, *незаконно*, безвозвратно. А кто виноват?.. То-то, кто виноват?"

В каждом человеке *личность* есть, сознание собственного достоинства, стремление к счастью, требование справедливости. Подавите все это, оно непременно проявится, хоть судорогой, но проявится. Припомните рассуждения Достоевского о значении денег в остроге, или вот этот глубоко-замечательный отрывок:

„Удивляются иногда начальники, что вот какой-нибудь арестант жил себе несколько лет так смирно, примерно, даже десяточным его сделали за похвальное поведение, и вдруг решительно ни с того, ни с сего,—точно бес в него влез,—зашалил, накутил, набуянил, а иногда даже просто на уголовное преступление рискнул, или на явную непочтительность перед высшим начальством, или убил кого-нибудь, или изнасиловал и проч. Смотрят на него и удивляются. А между тем вся-то причина этого внезапного взрыва в том человеке, от которого всего менее можно было ожидать его,—это тоскливое, судорожное проявление личности, инстиктивная тоска по самом себе, желание заявить себя, свою приниженную личность, вдруг появляющееся и доходящее до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог. Так, может быть, заживо схороненный в гробу и проснувшийся в нем колотит в свою крышку и силится сбросить ее, хотя, разумеется, рассудок мог-бы убедить его, что все усилия останутся тщетными. Но в том-то и дело, что тут уже не до рассудка, тут судороги".

Правда, такие взгляды на народ оказались слишком „здравыми" для Достоевского. Впоследствии они приняли другую, очень заметную окраску. Не чувство справедливости, не собственное достоинство выдвигалось уже на первый план,—а смирение, способность побеждать жизненное зло внутренней силой. Народ за этот последний период является для Достоевского великой, *молчаливой* массой, в глубине которой таится вся жизненная правда, решение всех вопросов, помощью любви, веры, нравственного первенствующего во всем начала. Это, так сказать, кладезь всей сердечной премудрости, основа всего буду-

щего нашего и европейского, и мерять его жизнь по собственной программе, по собственным интеллигентным идеалам не только нельзя, но и прямо грешно. Народ лучше знает, что ему надо, и прежде всего надо выслушать его.

С какой то ненавистью даже Достоевский отгонял от своего возлюбленного народа всех интеллигентных реформаторов. Что есть у тех? Наука, свои идеалы, свои страсти. У народа—больше: у него правда. „Послушаем серых зипунов,—писал Достоевский в последнем номере своего дневника,—что-то они скажут... А мы пока стоим в сторонке, чтобы научиться". Иногда-же отрицание права интеллигенции вмешиваться в народную жизнь принимало гораздо более резкую и раздраженную форму. Парадоксальный, быстро раздражающийся, всегда впадающий на крайности ум не знал удержу и в этом вопросе. Но все-же Достоевский – народник прежде всего,—народник потому, что из всех фактов русской жизни народ самый важный, большой. Вне народа нет деятельности, нет жизни. Это—сила, которой предназначено претворить в себе все и разрешить все наши вопросы одним великим, выстраданным принципом—*любовью*.

Итак, обращение к народу, служение ему в духе христианской любви и правды – таков завет Достоевского русской интеллигенции. Всякий оторвавшийся от народной почвы, гибнет, как рыба, выброшенная на сухую землю. В сближении с народом наше будущее. Наше *обновление* началось с него, т. е. с этого сближения, на путь которого вступил Пушкин. „Все что есть истинно прекрасного в нашей литературе,—говорит Достоевский, все взято из народа, начиная с смиренного простодушного типа Белкина, созданного Пушкиным. Не буду уж упоминать о чисто народных песнях, созданных в наше время, но вспомните „Обломова", вспомните „Дворянское Гнездо" Тургенева. Тут, конечно, не народ; но все, что в этих произведениях Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного,—все это от того, что они в них соприкоснулись с народом. Это соприкосновение с народом придало им необычайные силы".

Такие же „необычайные силы" получит и вся русская интеллигенция, соприкоснувшись, сблизившись с народом, отдавши на служение ему все силы. Народ сторицею возвратит за это, научив ее своим христианским идеалам.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

I. ВВЕДЕНИЕ. Стр.

Достоевский и беллетристы 40-х годов.—Особенности.—Литературный пролетарий.—Вечное безденежье и вечная кабала.—Влияние города.—Городские темы и городские лица.—Психопатология и психопатия 3

II. Детство.—Город и деревня.—Деревенские впечатления.—Мужик Марей. Великое и святое Угрюмый отец.—Семейная жизнь.—Букварь, начатки грамматики.—Жорж Занд 16

III. Смерть матери и переезд в Петербург.—Луч идеализма.—Дурные впечатления.—Инженерное училище.—Одиночество.—Тяжелая юность.—„Бедные люди".—Разрыв с Белинским.—Неудачи.—Болезнь 27

IV. Кружок Петрашевского.—Арест.—Ссылка на каторгу.—Влияние каторги на характер и миросозерцание Достоевского 44

V.—Возвращение из ссылки.—Издание „Времени" и „Эпохи".—Женитьба.—Годы за-границей 62

VI.—Смерть 74

VII.—ИТОГИ.

Что дал нам Достоевский.—Кающийся интеллигент.—Разлад с народом.—Необъятная сила 86

F-50
65912/83